

# ВИЗИТ К АРХИВАРИУСУ

(Исторический роман в двух книгах)

**ПАХАНЫ**

(Книга первая. Часть первая)

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

**Лев АСКЕРОВ**

Лев Аскеров

**Визит к архивариусу.  
Исторический роман  
в двух книгах (I)**

«Автор»

2023

## **Аскеров Л.**

Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (I) /  
Л. Аскеров — «Автор», 2023

В руках у вас XX век. Разумеется, не весь. Никому не удержать и никому не поднять его тяжких гроздей, напитанных трагедиями и восторгами жизни...Люди станут толковать его, как им угодно. И они будут их правдой. Только в архиве небес, а таковой, конечно же, имеется, мы найдём его полную, без купюр, версию...

© Аскеров Л., 2023

© Автор, 2023

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

62

# Лев Аскеров

## Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (I)

ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ СОЗДАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ВЕЛИЧАЙШЕГО ЧУДА – КНИГЕ.

АВТОР

Не вместить XX век и в тысячах тысячестраничных книг. Не охватить его и нашим, полным амбиций, умозрением. Не хватит для него и памяти компьютера, который мы никогда не научим слышать и воспроизводить голоса душ наших, потому что сами не можем делать этого...

Автор же предлагаемого романа смеет надеяться, что три его героя – Балаш Агаларов, по прозвищу Рыбий бог, проживший от звонка до звонка всё столетие, Ефим Коган, одолевший его первую половину, и эмигрант Семён Мишиев, переживший оставшуюся половину века – донесут до вас суть минувшего. Ведь по тем страничкам их судеб, помещённых Архивариусом небес в свою неохватную умозрением сокровищницу Истории бытия человеческого, ему удалось пробежать не только их глазами, а глазами ещё и тех, кто, так или иначе, был связан с их жизнями. Тех, кого никогда и никто не вспомнит, и тех, кто оставил глубокие следы в памяти людей. Они-то, последние, и тогда были на слуху и сейчас поминаются историками и исследователями.

Это Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Лев Троцкий и их сотоварищи, Григорий Распутин, Симон Петлюра и Нестор Махно, Генрих Ягода, Лаврентий Берия и Андрей Вышинский, Никита Хрущёв и Мир Джафар Багиров, Вели Ахундов и Гейдар Алиев...

Это Трумэн, Рейган и Буш-старший, Уильям Кейси и Ким Филби...

Это Александр Блок, Фредерико Гарсия Лорка и Эрнест Хемингуэй, Максим Горький и Сергей Есенин, Микаил Мушфиг и Самед Вургун...

Их нет. Они ушли. А в небытие ли?..

На этот вопрос, перевернув последнюю страницу этого романа, вы ответите сами.

Что было, то и теперь есть,  
И что будет, то уже было;  
И Бог воззовет прошедшее.

И сказал я в сердце своём:  
«праведного и нечестивого будет судить Бог;  
Потому что время для всякой вещи  
И суд над всяким делом там»...

**Из книги Екклесиаста или Проповедника**

**Беркутины  
(Пролог)**

Рыбий Бог подремывал на корме весляка. А весляк покачивался на зыби. Вместе с ним покачивался огромный утес, похожий на присевшую в воду птицу. Каменная птица закрывала

собой остров. И самые бешеные натиски хазри<sup>1</sup> она принимала на себя. Сначала жители рыбацкого поселка Копченых кутумов, а потом уже все островитяне называли этот утес Беркутины. Почему Беркутины – ведомо было только одному Рыбьему Богу. Он знал, пожалуй, все легенды острова. И все были-небылицы, что рассказывали о нем самом.

Таковы уж были эти островитяне. Могли увидеть необычное в самом что ни на есть житейском. Любили придумывать различные истории. Речь их тоже была необыкновенной. Звучали в ней и вусмерть бьющий прибой, и всплеск голубых крыльев чаек, и перебираемый волной звон галек и шорох ракушек.

Тогда, рассказывают, Балаш по прозвищу Рыбий Бог, глядя на ребяташек, игравших в скалах в войну, многозначительно заметил: «Дитя, может, и не смыслит, но невинной игрой и неумышленным словом намекнет на многое... Дитя как старец мудр и как народы глуп...»

А утром редкий по силе шквал хазри коварно ударил в Беркутины. Да так, что Беркутины болезненно охнули от неожиданности.

Баркас, причаливший на тихой Южной пристани, принес недобрую новость – война!

Поселок Копченых кутумов, в котором на свежаке скрипели сбитые из промазученных досок четыре рыбацкие лачужки, осиротел. Лишь одна из них ржавой трубкой дымохода одиноко и грустно курила в равнодушное небо. То была хибарка Рыбьего Бога... Поговаривали, что красноармейцы его чуть ли не силком выволакивали из длинющего эшелона скотных вагонов, набитых восторженными добровольцами. И причиной тому была вовсе не чахоточная немочь, а всего-навсего одна строчка в его личном деле – «горный инженер». Такие специалисты нефтяному хозяйству Баку нужны были как воздух, а войне без разницы, какое мясо перемалывать в своей утробе. Ему и еще нескольким добровольцам, рвущимся на фронт, как нефтяникам, там, у эшелона, автоматически выдали «бронь». Они подняли скандал. Едва не дошло до мордобоя. Тогда самый высокий военачальник призывного сборного пункта приказал взять их под стражу. А к вечеру раздолбанная полуторка с военными номерами на борту скинула Рыбьего Бога на берегу пролива, за которым виднелся его родной остров, с трестом «Артемнефть»...

...Сейчас вокруг острова стоят вышки морских нефтяных промыслов. А дамба, проложенная через пролив, разделявший остров от материкового мыса, накрепко соединила его с ним. И на нем, на острове Артема, некогда, еще далеко до Стеньки Разина, называвшегося Святым, уже живут другие люди. Прежними остались утес Беркутины, Рыбий Бог и рыбацкий поселок Копченых кутумов...

Рыбий Бог по-прежнему жил тут. Жил не в одиночестве. Рядом три пустовавшие хибарки заняли его новые товарищи. Они приехали сюда в разное время. Приехали с той стороны усыхающего пролива, где жили в другом мире. И, как всех вновь прибывших, их на первых порах называли «заморцами». Потом они составили элиту Святого и получили, как здесь было принято, свои прозвища. Одного, Лешку Зубриенко, называли Девятый Вал, другого, как поговаривали, спасителя самого товарища Сталина, Афоню Тюрина – Рваная Щека, а Миню Дрямова – Белый Берш. Правда, Белый Берш единственный из Копченых имел семью, проживавшую неподалеку, в поселке первых официальных жителей острова, которых здесь поселил сам Нобель. Дрямовы, как и многие другие островитяне, прибились к Беркутинам в тридцатые годы. Бежали от лютого голода. Кто из Рязанщины, как Минькина семья, кто из Поволжья, а кто и из Украины...

Прозвища пришельцев не обижали. Наоборот. Ведь с получением их они как бы получали от островитян своего рода вид на жительство. Это означало официальное согласие – им здесь быть.

---

<sup>1</sup> Хазри – местное название, возникающего на Каспии, ураганного ветра доходящего до 12 баллов.

Ни их фамилий, ни их прошлого никто из островитян толком не знал. Им это было незначительно. Они были не любопытны. Они были наблюдательны. Лучшим паспортом для них был образ жизни и поведение пришельцев. По ним они читали их биографии. По ним судили. Тем, кого принимали в свой круг, давали свое имя и находили уголок у себя в бараках, построенных для рабочих-мазутчиков еще братьями Нобелями. А в Копченых кутумах, который они называли «выселок избранных», позволено было селиться лишь с высочайшего разрешения Рыбьего Бога... Остальные прибывающие сюда, на Святой, и не прошедшие своенравного отбора островитян, ставили свое житье-бытье в другом поселке – Первомайском, что размещался на противоположной стороне острова.

Поселковцы никогда между собой не враждовали, но жили отчужденно. Прошло время, и их накрепко связали родственные узы, семейные торжества, Дворец культуры, куда вместе ходили на концерты заезжающих артистов, в кино, на танцы. Их объединяла работа, больница, школа и детсад, где воспитывались и учились их дети. Житейские заботы ворвавшейся сюда цивилизации, стремление получить коммунальную, со всеми удобствами, квартиру в строящемся Первомайском поселке, обставить ее полированной мебелью, телевизором, холодильником и коврами, иметь собственный автомобиль – все это заслонило прежнюю жизнь островка. Сдуло ее из памяти. Как сдувает со скал в пыль сожженный солнцем песок.

«Выселок избранных» забывался. Знали, что где-то в стороне Беркутин такой существует. Там доживают свой век чудаковатые старики. И туда за бычками и кефалью ходит пацанва.

В обветшалом Нобелевском посёлке, который стали называть Старым, осталось с три десятка семей-старожилов, привыкших к своему образу жизни и никакого другого ни за какие деньги признавать не хотевших. Они все так же друг друга называли по кличкам, полученным чуть ли не сизмальства. И теперь только некоторых, живших на острове с ними по соседству, они все так же называли «заморцами». Но в это слово они вкладывали всю ненависть к темным душонкам, которых на Святом прежде не водилось. В городе другое дело. Быть может поэтому самый крутой нравом Девятый Вал относился к ним спокойно. И не раз бушевавшего в их адрес Белого Берша, жившего на острове, как и Рыбий Бог, с незапамятных времен, он недовольно обрывал:

– Бросай кошку, Берш. Не надрывай сердца. Не перед микрофоном... Вот я вчера таких заломов взял.

Белый Берш, моргая рыжими глазами, дождался, пока кончится неправдоподобный рассказ о заламах. Наверное, он не слушал все это время травлю Девятого Вала. Ему было неинтересно.

Он не мог отвечать слету. Научившись кое-как читать, Дрямов читал только умные, политические книжки, запоминая понравившиеся ему слова, которые, на его взгляд, имели «особливую силу внушать», и старался употреблять их в разговоре. Он в уме добросовестно складывал фразу за фразой, и когда, по его мнению, «аргумент был готов», выдавал абракадабру, над которой можно было бы потешаться, если бы в ней не было некоторого смысла.

– Спрашивается, почему я об этом рассуждаю? – дождавшись, когда все умолкнет, начал он с риторического вопроса. – Не потому, чтобы смутить твоё понятие, высоту которого ни в коем разе с моей не сравнить. А потому заостряю внимание ваше, что удивляюсь их архиблизорукостью. Они не кумекают и никогда не уразумеют в своих каменных джунглях, в чем главная идея жисти. Для них главное – распроклятая денюга. Вот она, гибельная паразитная микроба. Она пожирает человека. Делает его жестокосердным. Такой индивид сам становится паразитным микробом. Он кусает базис социализма. Зубки у него хоть и острые, да, поди ж ты, не крепкие, чтобы перекусить его.

Белый Берш сделал паузу. Убедившись, что его слушают, он удовлетворенно прикрыл глаза и, приложив ладонь к затылку, мягко примял взъерошенные ветром белые от рожде-

ния волосы. Этот жест, подсмотренный им в каком-то фильме, у какого-то киноактера, старый рыбак очень любил. Ему казалось, он придает говорившему спокойную уверенность и опять-таки внушает.

– Что ж я хочу всем вышесказанным сказать? – снова с вопроса продолжил Белый Берш. – Базис, прошу, товарищи, меня правильно понять, это не сцементированные кирпичи. Это, должен заострить внимание ваше, – люди. Вы, я и другие. Паразитный микроб вцепляется челюстями не в кирпичи, а в них. Вот почему Девятый Вал, как подстреленная птица, опустился здесь. А Рваная Щека приехал потухшим. Холодным, что тот голыш. Вот почему этого микроба надо извести. Уничтожить как класс. Вот почему я так распинаюсь и никогда не брошу кошки. Укумекал?

Его слушали снисходительно улыбаясь. Каждый с деланным равнодушием занимался своим делом, и каждый, судя по напряженному молчанию, готов был возразить философствующему аборигену. Но никому, кроме Белого Берша, продолжать разговор, грозивший перерасти в бессмысленный спор, не хотелось. Надоело. И они злились на этого обросшего медной щетиной, по-шутовски конопатого, белобрысого мыслителя. А тот, ничего не замечая, с превосходством оратора, затмившего блестящей речью остальных, обводил глазами всю компанию и чувствовал себя значительной и важной фигурой.

– Тебя, Белый Берш, назвать надо было бы Рыжим Пупом. Как пуп земли сидишь на бережку, под солнышком и от удовольствия языком чешешь. Интересно, кем бы ты был там, за Беркутинами? – добродушно ворчал Девятый Вал.

Белый Берш хмыкнул. Он не мог отвечать слету. Он слету мог только действовать. Как в ту давнишнюю холодную весну, когда этот рослый и жилистый ворчун со стальными глазами был окрещен им Девятым Валом. Тогда жители Нобелевского поселка пережили два тревожных дня, переживая за пропавшего в море человека. И еще несколько минут, в течение которых жизнь его висела на волоске.

Старопоселковцы стояли над ревающим морем, как над гробом с покойником.

Только вечером следующего дня, когда море уже ревело, как тысяча голодных тигров, в рыбацких хибарках стало известно, что один из новоселов Копченых кутумов, ушедший накануне на своем паруснике к Дальней гряде, еще не вернулся. Сомнений в том, что он уже кормит раков, почти ни у кого не было. Ведь он прожил здесь всего четыре месяца. И то почти на берегу, сколачивая при помощи товарищей лодку. Выходил, правда, и в море, но с Рыбьим Богом – пару раз с ним же рыбачил на Дальней гряде. Но это в счет не бралось. Выструганную им лодку он обкатывал всего денек. И на тебе, поперся к черту на кулички. Туда при попутном южаке да при хорошем парусе, а не на такой пузатой обалдуйке нездешней конструкции, добираться почти три часа.

Приползти к Дальней он, конечно же, мог. Но если хазри застиг его там – хана! Гряда в высоту не выше двух метров. В небольшую зыбь на ней хорошо. Чуть зазевался, не заметил вдруг взывавшегося моря – на гряде не устоять. Слонами через нее переваливают валы. Пиши пропало.

– Ничего с ним не случится, – сказал Рыбий Бог. – Он настоящий парень. Послезавтра к десяти утра будет здесь.

Слова Рыбьего Бога на бывалых действовали гипнотически. Верили в его сверхъестественное чутье. И, потолкавшись еще немного, разошлись.

Белого Берша и Рваную Щеку Балаш отправил на маяк, наказав им, чтобы он светил до рассвета.

– На всякий случай. Чем черт не шутит, вдруг захочет прорваться сейчас. Парень рискованный, – сказал он.

Все произошло, как предсказывал Рыбий Бог. Бывалые с самого раннего назначенного часа слонялись на берегу. Над островом гремела оглушительная канонада прибоя. От валов,

намертво бьющих в скалы, остров спросонок вздрагивал и охал. На самой ниточке закроя<sup>2</sup> нервно вздымающегося мутного моря появилось белое пятнышко паруса пропавшей лодки. Попутняк быстро тянул ее к берегу. Она шла, доверчиво прижавшись бортом к еще злым, но уже не страшным, мягко закругляющимся щекам барашков. Только криво сидящий парус говорил о том, что лодку изрядно потрепало. Теперь все осталось позади. Оставалось совсем немного. За длинной цепью береговых скал лежала спасительная бухта – Домашняя заводь. Уже сейчас пропавший понемногу начнет забирать вдоль берега, на Беркутины, и на полпути от них юркнет за надежную каменную стену. Но парусник ожидаемого маневра не предпринимал.

– Он с ума спятил. В Ствол нацелился. В смерть шмякнется, – проговорил Белый Берш.

Рыбий Бог, оценивая осмотрев летящий на опасный рубеж парусник, словно тот находился у него под носом, кивнул головой:

– Шмякнется... Если подведет крепление.

С этой минуты Берш начал действовать. Схватив увесистый бунт веревки, лежавший на пороге его лачуги, он привязал к одному концу ее кошку и бросился к скалам. Бывалые, занимаясь каждый своим делом, затаив дыхание следили за ним.

Через четверть часа он был уже у Ствола, представлявшего собой узкий, где-то около четырех метров, проход в сплошной стене скал. Эту горловину называли так потому, что смельчаки, решавшиеся в убойный прибой ради того, чтобы поскорее оказаться дома, проходить через него, влетали в Домашнюю заводь как пуля из дула.

Закрепив кошку в расщелине, Белый Берш, окачиваемый перехлестывающими волнами, цепляясь за каждый выступ, чтобы не быть смытым лавиной воды, медленно продвигался к самому краю кипящей горловины. Уже над ней, вжавшись в тесное углубление, он смотрел на берег, на Рыбьего Бога. Тот поднял руку. Белый Берш выглянул из-за укрытия.

На гребне высоченной волны, прямо в клокочущую «глотку» сквозной дыры, со свистом летел парусник. Белый Берш напрягся...

Леше надо было сейчас еще сильней натянуть парус и держать кормило до последнего, до не могу ...

Берш видел, как туго стянулись Лешкины мускулы и как они вдруг ослабли... Это – линь... Лопнул линь... Жердь, державшая понизу полотнище паруса, хрястнув, отбросила его, вцепившуюся в кормило, руку. Брошенный руль развернул лодку, и ее стремительно, бортом, понесло на верную гибель. Берш слышал треск ломающейся лодки и, почувствовав, что ослабевший от удара вал начинает сдавать, шагнул вперед и разжал руки. Многотонная лавина подхватила его и понесла по ту сторону стены, в белый кипяток прибоа...

Подоспевшие к месту происшествия Рваная Щека и несколько бывалых вытянули их за веревку, к которой Берш привязал себя.

Спасенный в беспамятстве метался на топчане Рыбьего Бога. Он выкрикивал и вел не понятно чему счет: «Первая... вторая... третья...» – затихал, а потом радостно, пытаясь вспрыгнуть на ноги, азартно кричал: «Девятый!.. Девятый! Вот он, голубчик»... Белому Бершу с Рыбьим Богом и Рваной Щеккой приходилось вступать с ним в единоборство, чтобы снова повалить в постель. Наконец он заснул. Задремал и Белый Берш. А когда открыл глаза, встретился с осмысленно улыбающимся стальным взглядом спасенного, который подмигнул ему:

– Все-таки этот девятый вал подрезал меня.

Белый Берш опрометью бросился к двери.

– Балаш! – вопил он. – Этот... как его... девятый вал очухался! Очухался он!

<sup>2</sup> Закрой – горизонт (местное рыбацкое название горизонта)

... Белый Берш слету отвечать не мог. Он слету мог только действовать. И глядя теперь на спасенного им и любившего его человека, которого в Старом поселке с тех пор называли Девятым Валом, он думал, как умно и красиво ответить ему.

– Ты спрашиваешь, кем бы я был там, за Беркутинами? – как всегда с вопроса начал он. – Отвечу. Человеком. Потому что я знаю главный смысл этой жисти, – твердо сказал рыбак.

На него удивленно и вопросительно вскинули брови. А Белый Берш, откровенно наслаждаясь впечатлением, какое произвели его слова, нарочно затягивал паузу. Наконец, картинно приложив ладонь к взвихренному льну затылка, значительно продолжил:

– Это жисть.

Все, не то разочарованно, не то облегченно, перевели дыхание, словно ожидали от старого рыбака заветного заклинания, спрятанного для многих за семью печатями, а не услышав, потеряли интерес к разглагольствованию Белого Берша. Не поняв причины внезапно наступившего равнодушия, рыбак растерялся. И всполошенно, не думая о значительных жестах, округлых фразах, сбивчиво, но горячо зачастил:

– Жисть! Жисть!.. Мне можете не верить... Я что?.. Поспрашайтя у Рыбьего Бога. Ну поспрашайтя. Он раньше вас допетрил. Раньше вас здесь объявился... Вяленой рыбешки, печеной картошки, хлеба крошки, моря и воли трошки... вот где шелудивый закопан-то. Вот в чем жисть-то. А там, за Беркутинами, ее нет. Там люди кость нарисовали себе и злую свалку из-за нее затеяли. По-вашему, по-мозгляцки, она борьба называется. А борьба-то в чем? Да кто куснет больше. А вот кто куснет, а кто выкусит. Сплошь умные словечки да человечки... Навыкусывается такой, отбежит к морю боль зализывать – и увидит настоящую жисть. Душой светлеет. Человеком становится... Вот где главная идея. Не нарисованная, не придуманная и не с чужого голоса напетая.

– Полно, полно, Берш. Тебя никто не хотел обидеть. Что тебя так распалило? – обнимая за плечи чуть не плачущего рыбака, успокаивал Девятый Вал.

– Да я без злобы, милай, – влажными, по-собачьи жалостливыми глазами оглядывая друга, говорил он. – Ты оттаял здесь, да и другие, что придут к Беркутинам, отойдут душой. Еще вспомнят и возвратятся к Беркутинам. Не усмехайся, Лебедь. Настанет время, и ты упадешь челом к порогу Копченых кутумов.

От укоризненных взглядов Рваной Щеки и Девятого Вала я смешался и готов был провалиться сквозь землю. Последние слова старого рыбака относились ко мне, хотя я слушал его с интересом и не думал глумиться над ним.

– Берш, ты ошибся насчет меня. Я не насмеялся.

– Я так, Лебедь. Так. На всякий случай. Думал, что ты на сердце положил недоверие к моему разумению. Дескать, пустомеля старик, – бесхитростно признался он и, кивнув, заковылял по направлению к Старому поселку.

– Куда он? – спросил я Рыбьего Бога.

– К внуку, – ответил за него Рваная Щека. – Сын пацаненка ему народил. Теперь он к Нобелю бегаёт по несколько раз на дню.

Белый Берш был первым, кто назвал меня Лебедем. Это было в один из моих приездов к Рыбьему Богу. Он-то и повел меня в Старый, некогда называвшийся Нобелем, поселок, где жил его сын.

Вечерело. Мы подошли к увязшему в зелени небольшому домишке. На голубой ленте горизонта расплавленным золотом стекало в море солнце. Далеко за Беркутинами висела грозозовая туча. С той стороны, по-над самым морем, летело семь лебедей. Было тихо-тихо и по-сумасшедшему пахло сиренью. Мне было хорошо. Так хорошо, что хотелось обнять весь мир. Я сел на лавку и записал, уложив в рифмы свое настроение.

– Ты уж прости меня, – раздался над самым ухом робкий голос Белого Берша, очевидно, стоявшего за кустами до тех пор, пока я не кончил дела. – Рыбий Бог чай зовет откушать. Сапогом самовар разутюжил и теперь кейфует возле него.

Уже по дороге, замаявшись и в смущении, пряча от меня рыжие глаза, спросил:

– Ты уж опять-таки прости. Только страсть как любопытствую, что ты там писал? У тебя такое лицо было чудное... Как у Рыбьего Бога, когда он сети тянет.

– Да стих накропал, – как можно небрежно ответил я.

– Сти-и-их!?! Ишь ты, – протянул он. – И озаглавку дал?

– Нет, заголовка еще не придумал. И потом я не поэт. Я просто по настроению.

Уже сидя за чаем, Белый Берш сказал:

– Твой-то парень, Балаш, стих сочинил. Скажи пусть уважит, прочтет.

Я стал отнекиваться и говорить о непрофессиональности стиха и о том, что он ни к черту не годится.

– Ничего, что без озаглавки. Ничего. И так пойдет.

Я вытащил блокнот и стал читать.

По закату – золотые слезы.

Догорает тихо день.

Где-то всхлипывают грозы,

Плачет запахом сирень.

Маки гаснут на долине,

И грустит рыбак-старик.

Над волной, в нечетном клине,

Лебединой песни крик.

Величавою станицей

Клин плывет, плывет, плывет...

И, как день, из вереницы –

Лебедь в море упадет.

– Ай да парень! Ай да Лебедь! – всплеснул руками Белый Берш. – Каково, а, Балаш?!  
Задушевно.

Я поблагодарил его и сказал, что он соавтор, потому что подсказал заглавие – «Лебедь».  
Старик растрогался.

– Спасибо, Лебедь, – сказал он и весь вечер так и называл меня.

И Рыбий Бог с улыбкой заметил:

– Отныне ты здесь получил постоянную прописку. Цени.

... И теперь, здесь, на чужбине, в Штатах, припоминая все мои встречи с этими простыми стариками, с их кривыми судьбами, я ловлю себя на мысли, что давно уже не испытываю прежней восторженности, не ощущаю той прозрачной чистоты, когда мне бывало хорошо, когда хотелось обнять весь мир и плакать от выпавшего мне счастья жить.

И так мне становится тоскливо! И так больно жмёт сердце!.. И так хочется вернуться в то время. Но нет назад дороги. Может и есть... Что мы знаем об этом? Что мы знаем о себе самих, о «жисти» нашей и о смерти нашей?.. Да ни черта мы ничего не знаем!.. Но память, пока мы живы, – это чудо. Чудо, которое в нас. Пока мы есть...

## **Глава первая**

### **Застолье Рыбьего Бога**

#### **Балаханский базар. Малина с сучьим духом. Золотые сани.**

Рыбий Бог склонился к костру. На рыжих патлах огня, в мятом ведре, варились раки. А рядом, в черном от вековой сажи казане, по-туземному страстно начинала гортанить уха.

Седая голова Рыбьего Бога горела оранжевыми и синими бликами. Он наклонился, а к нему на спину вздувшимся парусом, не то от навалившейся луны, не то от ветра, легла сушившаяся сеть. Бросив к ракам в закипающую воду лаврушку и добрую жменью горошин черного перца, он накрыл ведро листом жести. Потом, подняв спиной сеть с запутавшейся луной, Рыбий Бог снял с костра казан с ухой и поставил его передо мной.

– Пусть допаривается, – пробурчал он и, закатав до колен брючины, пошел в море.

Там, неподалеку, в песчаной отмели, под прохладным накатом, он зарыл пару бутылок арака<sup>3</sup> и там же припрятал привезенный мною бочонок зыхского<sup>4</sup> пива. Мусульманское святейшество не пьет, а Балаш пил как Бог. Только по настроению, никогда один и всегда с заразительным удовольствием. А свои застолья он обставлял как будто бы просто, но хитро.

Столом служил выжженный добела каменный блин, что находился в углублении скал, напоминающих собой подкову. Вокруг «стола» по овалу подковы лежала высокая перина сухой морской травы, которую нанесли и крепко спрессовали волны да ветер. Удобно прислонившись к скале, сложив по-турецки ноги, можно было сидеть, как на диване. В убойный прибой здесь не больно попируешь. Брызги вдрызг разбиваемой воды в доли секунды вымочат до нитки, а какой-нибудь шальной да крутой вал перекатится через подкову и, обрушившись на головы, смочет всю снедь со стола в камыш. Его заросли тянутся до самого поселка Копченых кутумов... Но в легкий бриз отдыхать здесь одно удовольствие. Особенно ночью. И при луне. И если ее приготовит Рыбий Бог. Когда он откинет лист жести, закрывающий багровых, как марсиане, раков и откроет крышку казана с расплавленным янтарем ухи... Тогда засаленные от долгого употребления граненые стаканы покажутся хрустальными. И помутится в глазах, как от крутой затяжки самосада. И восторженным криком покажется его приглушенное: «За удачу, островитяне!»

Но Балаш кроме «Пусть допаривается» пока не произнес ни одного слова. Он умолк с того самого момента, когда я полез к нему с дурацким вопросом, неволью прозвучавшим с обидной насмешливостью.

Мы с ним выбирали сети. Трепыхающиеся остроперые берши звонко бились о днище нашего кулаза. Балаш то напевал, то насвистывал и прямо-таки по-библейски светился. И в это время он говорил. И не было на свете более счастливого человека. Невнятное бормотание его походило на светлую молитву. Он бормотал ее моряне, бодливому накату, рыбе, Беркутинам и самому себе. Казалось, он жил, по-настоящему жил, только в эти минуты. Он жил ради этих минут. И выходил в море и сыпал сети не на берша и ни на какую другую рыбешку, а вот на них, на эти минуты.

– Посмотри, островитянин! – услышал я радостный его возглас.

Рыбий Бог прижимал к груди извивающегося севрюжонка. Севрюжонок широко открывал пасть и, выламывая свою еще неокрепшую хребтинку вырывался.

– Островитянин, если озвучить, что пастенкой своей кричит этот чалбыш<sup>5</sup> – от детского вопля Беркутины снимутся с места, – бормотал Балаш и, высвобождая рыбу от пут, приговаривал: – Чалбышонок-глупышонок... Тебе к маме с папой надо. Они расскажут тебе о нас, двуруких и двуногих, которые называют себя людьми и живут там, где вам, рыбам, жить никак нельзя. Они расскажут тебе о сетях, каладах<sup>6</sup> и других наших хитростях...

Перегнувшись через борт, Рыбий Бог окунул чалбыша в воду и медленно разжал пальцы. Севрюжонок стрелой ушел в глубину...

---

<sup>3</sup> Арак (азерб.) – водка

<sup>4</sup> Зыхский – от названия бакинского предместья Зых, где находился пивоваренный завод

<sup>5</sup> Чалбыш – местное название осетровой молодежи.

<sup>6</sup> Калада – перемет.

– Совсем мало для счастья надо, – снова взявшись за бершей, в том же духе продолжал Балаш. – Мало надо, мало... Рыбе – море. Человеку – воздух... Живая тварь рыщет счастья на свету и впотьмах. В воде, небе, на земле и под землей... А оно под носом, в клюве, в жабрах... Не чувствуют его. Привыкли. Мираж принимают за удачу. А он как насадка. Проклятая насадка... эта жизнь. Чудом сластится. А сколько лет я ждал этого чуда. Всегда жду.

– А что, Рыбий Бог, и ты как сазан попался на крючок? – спросил я и сам же услышал в этом вопросе язвительную насмешку, которую даже и не думал вкладывать.

– Мы все сазаны, – с холодной тяжестью пробурчал он и с тех пор больше ни слова не проронил.

...Я поднялся с места. В море, объятая каменным сном, лежала бронзовая птица Беркутины. От нее до самого берега протянулась в золотой от ряби брусчатке, широченная, лунная дорога. По ней с бочонком и авоськой в руках шел Рыбий Бог. Казалось, что за всем этим он спускался на морское дно. Об этом я ему и сказал. А он все так же молча протянул мне две гнутые миски с черпаком и кивнул на казан, дескать, займись делом. На каменный «блин», служивший нам столом, Балаш поставил ведро с вареными раками, затем, ловко перевернув вверх дном, резко поднял его над головой. Горячий дух дымящихся раков и уши с одуряющей силой ударил по ноздрям. Все тело и голова загудели так, словно по всем жилам, как по струнам, небрежным взмахом руки прошелся музыкант-умелец. Вот оно, райское застолье Рыбьего Бога! В мутных гранях стакана, неведомо как оказавшегося у меня в руках, дрожала лунная жидкость. Через гору «багровых марсиан» и пахнущую дымом костра уши я услышал азартный голос Рыбьего Бога.

– За удачу, островитянин!

Запив жгучий хмель густым наваром ухи и глотнув настоем забористого ветерка, я спросил:

– Почему всегда за удачу?

– Эх, островитянин, – лукаво прищурившись, вздохнул он. – И жизнь удача, и жить – удача. Вовремя умереть и родиться – тоже удача...

Я слушал его, и мне не хотелось, чтобы кончалась эта ночь. Ночь Рыбьего Бога. Мы так у костра и заснули.

Утром Рыбьего Бога рядом не оказалось. Его парусник покачивался далеко в море. Я прошел к Копченым кутумам и в скрипучей лачужке Балаша по памяти записал его рассказ.

\* \* \*

Мальчик вслушивался в жалостливые стоны повозки и к голосу аробщика – то громко разговаривающего с самим собой, то с напускной злостью покрикивающего на лошадь. Потом аробщик надолго умолк. Он задремал. А лошадь, кивая головой и изредка всхрапывая, продолжала путь все тем же ленивым шагом. Мальчика тоже тянуло ко сну, но уснуть он никак не мог. Сырые от рыбьей слизи мешки, под которыми он лежал, воняли тухлятиной. Куда ни поверни голову – или липкая мерзкая слизь, или засохшие, острые, как лезвия, рыбы чешуйки. Руки и ноги от долгой неподвижности одеревенели. Поначалу в поисках удобной позы он ими двигал и едва не выдал себя. Это случилось, когда арба только еще выезжала из Балаханов. Мальчик, поворачиваясь с боку на бок, запутался в мокрых мешках, приподнялся, и верхняя часть хорошо уложенных мешков свалилась на дорогу. Аробщик всего этого не видел. Он шел впереди лошади. Так бы и пропало добро, не выйди незадачливому вознице навстречу человек с до отказа набитым зембилем.

– Балыг сатан<sup>7</sup>, стой! – крикнул он. – Люди на ухабах теряют, а ты на ровной дороге рот разинул.

---

<sup>7</sup> Балыг сатан (азерб.) – продавец рыбы

– Разинул, разинул, – добродушно согласился аробщик.

С силой приминая поднятые с земли мешки, он сквозь них почувствовал что-то подозрительно твердое. Не зная того, Балыг сатан сильно надавил на голову затаившегося мальчонки и провез ее по занозистому днищу кузова. От острой боли и от страха быть обнаруженным маленький беглец не мог даже взвыть.

– Кажется, одну рыбу еще не продал, – с сожалением сказал он подошедшему и собрался было раскидать мешки.

– Ну да, вон хвост его под колесом! – округлив глаза, воскликнул человек с зембилем.

– Чей хвост? – оторопел Балыг сатан.

– Кита, которого ты не продал!

И они расхохотались. Потом торговец вспомнил, что на базаре за полмешка вяленого берша он выменял рулон толи, о котором забыл. И у него отпала охота рыться в вонючем ворохе мешков. Не хотелось пачкать руки и не терпелось поскорей выехать из Балаханов на безлюдную дорогу, чтобы там, в укромном местечке, вытащить из-за пазухи туго увязанные в платок золотые монеты. Десять золотых монет! Никогда бы не мог поверить, что за ведро безвкусной черной икры, которую рыбаки выбрасывали за борт, ему заплатят больше, чем за полдюжины мешков балыка. Светлая голова у Ага Рагима. Светлая. Знает, чем лакомятся господа. У Махмуда бека, когда он перед ним поставил это ведро, позеленели глаза, как у голодного волка.

– А это Ага Рагим передал вам. Говорит... м-м-м... Телкатес... – выговорил, наконец, припомнив странное русское слово Балыг сатан.

– Деликатес, – поправил Махмуд бек и, подцепив пальцем комок прозрачных отдававших зеленью черных зерен, отправил в рот.

– Отменно! Сказка! – причмокнул он. – Очень кстати. Передай ему спасибо и десять золотых... Да, на следующей неделе пусть еще пришлет. И побольше...

Десять золотых теперь лежало у него в кармане. Целое состояние. Это еще одна хорошая лодка, пять сетей и, если не будет улова, без малого месяца два сытой жизни. Каждый вечер плов. Аробщик, сглотив слюну, осклабился.

– Если человек смотрит на изношенный зад старой лошади и улыбается – примета хорошая, его ожидает богатство, – пряча в усах улыбку, глубокомысленно проговорил человек с зембилем.

– Да ну! – удивился аробщик и, поймав свой взгляд на лошадиной заднице, от души прыснул: – Спасибо, чаще буду смотреть.

– А что, Ага Рагим не приехал? Это ведь его арба.

– Он в море пошел... – и, помолчав, добавил: – Далеко пошел. За остров Святой. Слышал?

– Слышал от него... А ты кто ему будешь?

Аробщик хитро ухмыльнулся:

– Сын отца и матери его.

Они снова засмеялись. И человек с зембилем стукнул его по плечу.

– Значит, тебя Мехти зовут. А меня – Ашрафом. Я кучер управляющего нефтяных промыслов Махмуд бека.

– Я о тебе тоже слышал от брата.

– Вот-вот. Привет ему передай. И заодно мою просьбу выполни. Хозяин с женой вчера еще вместе с гостями из Германии уехали в Тифлис. Думал, буду свободным. Не получилось. Столько срочных заданий надавал. Придется кататься то в Карадаг, то в Маштаги, то в Нардран, то... – Ашраф махнул рукой. – А в доме сестры моей сунят-той<sup>8</sup>! Не смогу я быть у них. Так ты этот зембил с гостинцами, будь добр, передай Кюбре ханум. Ее у вас в Мардакянах

---

<sup>8</sup> Сунят-той – у мусульман торжество, связанное с обрядом обрезания

Певуньей зовут. Она моя сестра... И еще возьми рублевку. Скажи ей, чтобы сразу после обрезания поцеловала бы его за меня и отдала.

Мехти кивнул. Потом завистливо протянул.

– Тифлис... Хотя бы разок увидеть его...

– Даст Бог еще увидишь.

– Иншалла! – помогая устраивать зембил в арбе, говорит Балыг сатан.

– Спасибо, Мехти джан! Удружил, – благодарит его Ашраф.

– Интересно, чего это они, твои хозяева, сами уехали, а сынишку не взяли? Бегают там по двору как угорелый. Всю арбу облазил.

– Там все взрослые. Ребенок только бы мешал. Оставили его с русским учителем. Хозяин ему доверяет. Он человек надежный.

– Надежный, да чужой.

– Грета ханум хотела его взять. Полюбила как родного.

– Как?! Он им не родной? – удивился Мехти.

– Махмуд беку – родной, а хозяйке – нет. Он ребенок его сестры. Ее муж, отец мальчика, помер. Она несколько лет вдовствовала... А теперь там, у себя в Шемахе, сошлась с другим. Как положено, по шариаду... Тоже с вдовцом. У ней двое – мальчик с девочкой, и у того трое – две дочки и сын. Вот Махмуд бек и взял у ней мальчонку.

– Он шемахинец?

– Хозяин?... Да.

– А что он своих не завел?

– Не получилось. Когда Грета ханум была беременной, она упала из кареты и чуть не умерла. Ее спасли, а младенца не сумели... Лучшие профессора Германии ее лечили.

– Они сюда приезжали?

– Кто? Профессора?..

– Ну да!

– Нет, это случилось в Берлине. Хозяин с Гретой ханум поженились, когда он там учился... Теперь она не может иметь детей... Аллах лишил ее этого счастья. А женщина она очень хорошая. Балашку любит без памяти. Если бы ты видел, как она с ним прощалась, когда они уезжали.

Маленький беглец, забыв о боли и своих неудобствах, хотел выскочить из арбы, вцепиться в фаэтонщика Ашрафа и обозвать его вруном. Он-то хорошо знает, что мама Грета его мамочка, Махмуд бек его папа. Ничего, отец всыпет ему как надо. Не разрешит ездить на нашем фаэтоне... «Тогда посмотрим, дядя Ашраф. Тогда посмотрим»... – успокаивал себя мальчик.

Не имея возможности заткнуть себе уши, чтобы не слышать, он сильно зажмурил глаза. Другой раз он крикнул бы ему что-нибудь обидное и обязательно укусил бы.

Мальчик представил себе, как он выскакивает из-под мешков и впивается зубами в жесткую руку кучера и как Ашраф ревет от боли. Но этого нельзя было делать. Тогда бы он выдал себя и никогда бы не увидел моря. А ему больше всего на свете хотелось к морю. Хотя бы одним глазком посмотреть, как это в хрустальной воде живут серебряные рыбки.

О том, что море сделано из хрусталя, он нисколько не сомневался. Таким после рассказов рыбака Ага Рагима он видел его во сне. А Ага Рагим, как говорил отец, не пустомеля, человек порядочный. Не врун, как фаэтонщик, который ему один на один говорит ласковые слова и гладит по голове. Рыбак ничего подобного не делает. Зато дольше всех с ним разговаривает. Рассказывает о море. И когда он однажды спросил его, какое оно, море, рыбак ответил:

– Разное. Всегда хорошее. А когда солнце и нет ветра, море как... – Ага Рагим поискал глазами, с чем бы сравнить его и, указав на светящуюся в лучах вазу, сказал: – Как эта хрустальная ваза.

И мальчик тогда же затосковал по морю. И с нетерпением ожидал Ага Рагима, чтобы снова послушать о рыбаках, о волнах-великанах, о бешеном хазри, чтобы еще раз попроситься с ним или хотя бы побегать с его зюйдвесткой, от которой даже возле дома пахло морем. А он наезжал к ним в Сабунчи раз в месяц. Привозил полную арбу рыбы – свежей, сушеной, вяленой, холодного и горячего копчения. Управляющий покупал ее всю. Но из-за частых званных ужинов и обедов, устраиваемых в честь знаменитых и очень прожорливых гостей, она быстро расходилась. И он снова посылал гонца к Ага Рагиму. Только к нему, хотя на побережье были ловцы побогаче, на которых работало с десяток лодок. Рыба Ага Рагима и на вид была аппетитней, и на вкус лучше «ихней». Особенно удавался ему копченый балычок. С золотистой корочкой, насквозь светившейся янтарной мякотью.

Махмуд бек познакомился с рыбаком на базаре. Он сам делал закупки. Правда, по занятости это делать ему приходилось редко. Но если уж выпадал такой случай, он его не упускал. Махмуд бек любил базар. С тех самых пор, когда только одна мать верила в то, что ее сын выбьется в люди и его будут величать Махмуд бек. Он вместе с ней спозаранок, с зембиями зелени спешил на базар, чтобы успеть занять бойкое местечко. Пока кучка к кучке раскладывались кресс-салат, рейхан, зеленый лук, Махмуд ничего не мог видеть. Он только чувствовал острые тычки и недовольные шипенья зеленщиц, которым он будто бы мешал. Мать, не отрываясь от дела, рявкала на них и успевала выволакивать сына, запутавшегося в необъятных юбках шмыгающих взад и вперед торговок.

– Будь шустрой, сынок, – просила она.

Здесь не до обид. Каждый ищет себе места. Толкает, кроет матом, прет напролом, смеется, зазывает, наговаривает городовому, шпыняет слабого, обворовывает... Кутерьма, сутолока, гвалт. Но бессмыслицы в этом вовсе нет. На базаре как на базаре. И как в жизни. Разница только в масштабе.

Базар – гениально сработанная карикатура на жизнь. Один-два молниеносных штриха – и перед тобой тип, с которым ты уже имел честь обмениваться любезностями в блестящем светском салоне. Только он был наряжен во фрак и на холемом лице его сияла обворожительная улыбка.

Любезности, любезности... Они похожи на наливные без червоточинки яблоки, лежащие на прилавках базарных рядов, на ворох солнечных оранжевых апельсинов и зелень, на которой дрожат ещё росные слезки.

Наивному невдомек, что хозяин еще дома отобрал яблоки для прилавка, и теперь поплевав на них, полый пиджака натер до блеска, а зеленщица только-только обмакнула пучки в ведре воды, и на них сверкает, конечно же, не роса.

Поживших не проведешь. Махмуд бек через все это прошел. И смотрел на все хладнокровно, как бы со стороны. Но оставаться в стороне не мог. Его гипнотизировала безудержная суэта. Быть в толпе и быть свободной от ее гипноза нельзя. Равнодушным может быть тот, кто правит или надзирает над ней. Вон как смотритель базара и стоящий рядом с ним окаменелым идолом городской.

Махмуд бек потянул носом воздух. Хороши запахи на базаре. Словно спозаранок вышел на крыльцо своего сельского детства.

«Не будь жизнь таким базаром, жить было бы не интересно. Как хорошо, что можно толкаться, дышать, торговаться», – думал Махмуд бек, прокладывая в толчее свой путь. Он заражался настроением базара, входил в азарт. Но лихорадочно работающий мозг, с холодным рассудком, не давал ему забываться. Из всей будоражающей кутерьмы выхватывал колоритные картины отношений между людьми и самих людей. Ради чего он, по-существу, и рвался сюда, чтобы потом на досуге поразмыслить обо всем.

Махмуд бек понимающе мигнул щупленькому амбалу, прогнувшемуся под хурджинами, что были набиты гранатами. Тот шнырял в людской каше и ловко с зазевавшихся сбивал папахи

да ещё успевал мягко поддавать по задницам чванливых женщин. И проделывал всё это с жалостливо-виноватым видом. Поймав подмигивания Махмуд бека, амбал лукаво сверкнул глазами и, демонстрируя свое мастерство понимающему человеку, тотчас же сшиб на ком-то папаху серого каракуля и повернул к пострадавшему свою плутовскую рожицу, виновато изобразив на ней плаксивую гримасу. Серый каракуль оказался парнем бывалым. Поднимая папаху, он ухитрился дернуть амбала за ногу... Гора тяжелых хурджинов обрушилась на головы людей. В одно мгновение здесь образовалась куча-мала из визжащих женщин, испуганных детей, ушибленных голов, подвернутых ног.

«Амбал малость не рассчитал», – прыснув и отступив в сторону, сказал про себя Махмуд бек. Он хотел было пойти на выручку щупленькому носильщику, но его что-то остановило. Сейчас, только сейчас его глаза выхватили нечто интересное. А что? Где? Он окинул взглядом рыбный ряд и... нашел. Махмуд бек чертыхнулся. «Это экземпляр!» – прошептал он, продолжая наблюдать.

Рыбный купчик, на которого он обратил внимание, отличался от десятка других, стоящих с ним в одном ряду. На затылок была откинута необычная для здешних мест шкиперская зюйд-вестка. Сначала она бросалась в глаза, потом уж ее хозяин. Суровое, как морская скала, лицо его было непроницаемым и жестким. И спокойные, иронически окидывающие базар умные глаза. Среди всей этой наэлектризованной друг от друга толчеи он, пожалуй, единственный, кто сохранял трезвость и, как в театре, с галерки, наблюдал за развернувшимся здесь действием.

«Бывалый шкипер», – заключил Махмуд бек, пробираясь к нему вдоль рыбного ряда.

– Салам алейкум, господин шкипер, – приветствовал Махмуд бек.

Шкипер перевел спокойно-изучающий взгляд на подошедшего и кивнул головой. Лицо оставалось совершенно невозмутимым. Не промелькнуло и тени торгашеской заинтересованности.

– Любопытно, что балычок у вас дороже, чем у других.

– Но лучшего, господин горный инженер, вам не сыскать на всем Апшероне.

Махмуд бек невольно покосился на свой замазученный китель. Шкипер нравился ему все больше и больше. «Разбирается, сукин сын», – еще более восхищаясь им, подумал он. И потом, его балычок на самом деле выглядел гораздо аппетитней прочих.

– А вот кутумы ваши, шкипер, дешевле всех.

– Вы хотите кутумов?.. Самые отменные через трех от меня. Правда, они подороже.

– Какой же вы торговец? Свой товар надо уметь подавать, иначе ни черта не выручишь, – удивился Махмуд бек.

– Я рыбак, господин горный инженер, – с достоинством ответил шкипер. – У меня свой расчет. Если вы у меня купите балык, тогда точно знаю, вы станете моим постоянным покупателем. Возьми у меня кутума – я рискую потерять хорошего клиента. Эта партия кутумов из неудачных.

Махмуд бек в знак одобрения хмыкнул. Поинтересовался стоимостью всего балыка и протянул рыбаку три рубля.

– Это очень много, господин горный инженер, – глядя на протянутые купюры, заметил он.

– Из них, – пропуская мимо ушей реплику шкипера, говорил Махмуд бек, – два рубля за весь ваш балык... Кстати, ваше имя?

– Ага Рагим.

– На все остальные, Ага Рагим, по своему вкусу купите мне лучшего копченого кутума... Когда кончите торговать, привезете ко мне. Я управляющий Балаханскими промыслами. Где живу, знает каждый.

И, не глядя на разинувших рот рыбных торговцев, которые в его присутствии, надрываясь, расхваливали свой товар, Махмуд бек ушел в толпу, пробиваясь к виноградным гроздьям

и инжиру. По пути он встретил амбала, что нарвался на каналью, знающего толк в базаре. Бедняге попало ото всех. Хозяин хурджинов все еще норовил кулаком достать до окровавленных губ незадачливого носильщика. Махмуд бек сочувственно покачал головой. Несколько минут назад этот амбал был его союзником. Они между собой даже перемигивались. «Не бросать же союзника в беде. Надо возместить ему ущерб», – решил Махмуд бек, нащупывая в кармане мелочь. Но протянуть руку помощи ему не удалось. У самого уха он почувствовал чье-то чесночное дыхание. Это был смотрящий за базаром городской.

– Господин управляющий... тот самый... опасный человек, – подобострастно шептал он.

Махмуд бек недоуменно уставился на полицейского. По-телячьи выпучив глаза, околоточный указывал в сторону рыбного ряда. Махмуд бек глянул туда и перехватил пронизательный взгляд шкипера Тот, не таясь, смотрел на них...

– Он каторжанин... Из Сибири... Тот самый, политический, – дышал чесноком жандарм.

– Я у него рыбу покупал, а не политику, – оборвал он блюстителя порядка и пошел к выходу.

Махмуд бека толкнули. В кармане звякнула мелочь. Он ее так и не отдал пострадавшему носильщику.

«Ну и невезучий этот амбал. Надо же... Впрочем, на базаре как на базаре»...

Потом он забыл о нем. Его мыслями завладел занятый торговец рыбой, похожий на шкипера и оказавшийся каторжанином.

Свой товар к дому управляющего, как и было договорено, Ага Рагим подвез в пятом часу пополудни. Он вошел в открытую калитку ворот и огляделся. Просторный двор. Слева конюшня. Возле нее, поблескивая лаком, стоит двухместная, с откидным верхом коляска. Справа сарай с загонем для птиц где копошились куры и, сбившуюся в кучку, семейство гусей. Завидев чужака, гуси сердито загоготали и, по-змеиному вытянув шеи, зашипели. Впереди, в отдалении, за раскидистым хартутом, хозяйский, в два этажа дом. К нему, под шатром виноградника со свисающими еще зелеными кистями, вилась выложенная из известняка дорожка. Кругом ни души. Он подошел к нему почти вплотную, когда отворилась дверь и ему на встречу по ступенькам сбежал невысокий крепыш славянской наружности.

– Здравствуйте. Вы шкипер? – спросил он.

– Можно и так, – согласился рыбак.

– По колориту, так оно и есть, – окинув Ага Рагима, добродушно смеющимся серыми глазами, сказал крепыш.

Рыбак молчал.

– Я, господин шкипер, три в одном: домосмотритель, педагог сына управляющего и студент русской словесности Николай Васильевич Якутин. Можно просто Николай, – и протянул ему открытую ладонь.

– Ага Рагим... Можно без Ага. Просто Рагим, – крепко пожимая руку Николая, назвал себя рыбак.

– Рагим, хозяин немного занят. Просил провести вас в гостиную. Он сейчас подойдет. У него к вам деловой разговор. Если, конечно, сказал он, вы не спешите.

– Не спешу.

Ага Рагиму нравилось, что его принимали в этом доме не как лакея и что этот русский парень разговаривал с ним уважительно, на «вы».

– Устраивайтесь. Пожалуйста в любое кресло, – войдя в гостиную, предложил домосмотритель. – Сейчас распоряжусь, вам принесут чая.

– Спасибо, Николай.

– Я, если не возражаете, тоже вас оставлю. Мне нужно закончить урок с хозяйским мальчиком, – извинился сероглазый крепыш и вышел из комнаты.

«Ты смотри... Доверяют... А ведь городской наверняка нашептал обо мне», – отметил он и, сказав вдогонку учителю: «Ничего»... – сел в кресло напротив окна, из которого просматривалась вся гостиная. Место оказалось неудачным. Слепило солнце. На излете дня оно особенно яркое. Он мог пересесть на другое место, но оттуда обзор был похуже и он мог не заметить появление хозяина дома. Ага Рагим подошел к окну и створкой ставни закрыл солнце. Из-за створки ему под ноги упала засунутая кем-то туда рамка с фотографией. «Нашли место куда класть. Хорошо стекло не разбилось», – проворчал он и... замер. На фотографии рядом с женщиной, державшей перед собой годовалого ребенка, стоял мужчина один в один похожий на его двоюродного брата Вахида, которого он в последний раз видел, когда тому было лет пятнадцать. В тот самый день, когда Ага Рагима угоняли в Сибирь. Он с матерью, женой его покойного дяди Сабира, и другими родичами пришел к Баиловской тюрьме провожать этап заключенных. Тогда Вахид ухитрился проскользнуть мимо охраны и сунуть ему в карман рублевку. Обозленные дерзостью подростка конвойные его немного побили...

Теперь, как ему сказали, его нет в живых. Умер еще до возвращения Ага Рагима из каторги. Он умер, как и отец, от рака желудка. Из-за этой болезни он уехал в горный городок Шемаху, славящийся своими знахарями, здоровым воздухом и целебным буйволиным маслом. Оттуда была родом его жена. Однако обмануть болезнь не удалось. Правда, поначалу ему там стало получше. А потом... У него, как рассказывала незадолго до своей кончины мать Вахида, остались девочка и крошка сын. Связи с ними у ней не было...

Похож. Очень похож. Только вот усов у Вахида не было. Впрочем, за время, пока он отсутствовал, они могли и отрасти. Все равно это не он. К этому дому он никаким боком не мог иметь отношение...

– Хош гялмисиниз<sup>9</sup>, господин шкипер! – быстрым шагом подходя к Ага Рагиму, улыбался ему утренний покупатель. – Что вы стоите?! Присаживайтесь! У меня к вам деловой разговор.

Не выпуская из рук рамку с фотографией, рыбак садится напротив хозяина дома.

– Я весь внимание, господин управляющий.

– А что это у вас? – интересуется он.

– Фотография... Я прикрывал ставню... Она оттуда вывалилась. Чуть не разбилась.

– Ну-ка, – протянул он руку и тут же, как ужаленный, вскочил с места.

– Абдул! Сукин сын! Бегом ко мне! – зычно крикнул он и, повернувшись к Ага Рагиму, пожаловался: – Наши азербайджанцы как работники никуда не годятся. Пока им не дашь по башке, и уважать не будут, и ничего нормально не сделают...

– Я здесь, хозяин! – входя с подносом, уставленным чаем и сдобой, подал голос слуга.

– Я тебе приказывал спрятать эту фотографию?

Постреливая хитрющими глазенками, Абдул виновато опустил голову.

– Почему не сделал?

– Я положил ее за ставню и забыл.

– Если бы ее снова увидел мальчик, я бы тебя в два счета прогнал отсюда!

– Простите, хозяин.

– Только это и знаешь – «простите, хозяин», – передразнил он и, протянув ему рамку, велел немедленно идти к нему в кабинет и спрятать ее за книгами.

– Понял! Спрятать в шкафу за вашими книгами.

– Бегом! И чтобы глаза мои тебя не видели.

Абдул опрометью кинулся вон.

– А кто они?... Там, на фотографии... – полюбопытствовал Ага Рагим.

– Моя сестра Натаван, ее умерший от желудочной болезни муж Вахид и их сынишка... – горестно вздохнув, управляющий отошел к окну.

<sup>9</sup> Добро пожаловать (с азерб.)

Ага Рагим едва не вскрикнул. Хорошо, инженер стоял к нему спиной.

– Мальчика я усыновил... Меня уже называет папой. А жену мою – мама Грета. Вот и прячу от него фотографию Нет-нет, а он тянется к ней...

– Чувствует: родители... – выдавливает рыбака.

– Да, – соглашается управляющий. – И еще болтливые языки людей... Вот и прячу ее. Не стоит терзать ребенка такими непонятными вещами, как смерть, житейские проблемы... Не поймет... Повзрослеет – расскажем...

– А со стороны отца... никого нет? – как можно спокойнее поинтересовался он.

– Была бабка... Мать Вахида... Бедную женщину после похорон сына разбил паралич...

Тоже умерла.

– Других – никого?

– Может и есть... Но у меня ему будет лучше. Я своим достатком смогу поднять его. Дать образование. Он у нас уже лопочет по-немецки. Жена у меня немка... – управляющий, видимо, что-то вспомнив, усмехнулся, хотел было еще что-то сказать, но вдруг, спохватившись, резко обернулся к рыбаку:

– Простите, уважаемый шкипер, заболтался... Давайте о деле.

Из Балаханов в тот вечер Ага Рагим уезжал в подавленном настроении. Наверное потому, что не дал волю обуревавшим его чувствам. Задавил кричавшее сердце: «Ваш мальчик – и наш мальчик!.. У него есть родственники по Вахиду!.. Много родственников!.. Он племянник мне!»...

Нет, ничему такому он не позволил вырваться наружу. Ни единая мышца на лице его не выдала его. И это всю дорогу мучило рыбака.

«Хорошо, что сдержался, – уже въезжая в Мардакяны, решил он. – Видишь ли, родич отыскался. Бывший каторжник... Инженер правильно сказал: он его поднимет, даст образование... А что мы сможем?.. Я-то что смогу? – спросил он себя и сам же себе ответил: «Ничего! Так что и нечего лезть...»

О том, что управляющий Балаханскими промыслами Махмуд бек Агаларов растит сынишку их двоюродного брата, он никому говорить не стал. Оставил в себе.

В тот день ему так и не удалось увидеть мальчика. Он где-то в комнатах занимался уроком русской словесности. Рыбак впервые увидел его недели через три, когда, как и договаривался в тот вечер с Агаларовым, привез на его подворье бочонок черной икры и пару мешков отменного балычка.

Он увидел его за столом, под шатром свисающих с лоз белых и черных кистей винограда. Посасывая горку варенья на ложке, мальчик внимательно слушал что-то рассказывающего ему Николая. Завидев арбу и идущего рядом с ней Ага Рагима, державшего за гриву одну из лошадей, он бросил ложку и стремглав кинулся к нему навстречу.

– Балаш! Поросенок! – вскрикнул ему вслед, обрызганный вареньем Якутин.

А мальчик, остановившись в нескольких шагах от рыбака, замер и, вытаращив глазенки, не мигая, заворожено уставился ему в лицо. Ага Рагиму, аж, стало не по себе. «Неужели зов крови?» – промелькнуло в голове.

– Здравствуй, мальчик! Как зовут тебя? – спросил он.

А мальчик, не отрывая глаз от лица его, продолжал молчать.

– Ай-яй-яй! Как невежливо! – кивнув рыбаку, с увещевающей укоризной выговорил подошедший Николай.

– Этого проказника зовут Балаш, – показывая на свою белую майку с каплями варенья, сказал Якутин.

– Салам, ами<sup>10</sup>, – наконец пролепетал он, опять-таки не отводя глаз от него, что явно смущало рыбака.

И вдруг вскинув указательный пальчик, спросил:

– Что это у тебя за шапка такая?

Таких мальчик ни у кого и никогда не видел. Это была смелая вещица. Он вещи, как и людей, по малопонятным и только им придуманным признакам, делил на смелые и трусливые, добрые и вредные. Вот тарелка, например. Она добрая, но трусливая. Бойтся упасть и разбиться. А половник и ложка вредные. Иногда они, правда, бывают хорошие...

Значит, это не кровь узнала кровь. Пацаненка, догадался рыбак, поверг в изумление его головной убор.

– Это шапка – зюйдвестка... Ее носят капитаны морей и океанов. Я тебе о них рассказывал, – стал объяснять Якутин.

– Так тебе нравится моя шапка? – хмыкнул Ага Рагим и, стянув ее с себя, протянул ему.

Мальчик зарылся в нее лицом. Она точно смелая вещь. И пахнет по-особенному. Даже не пахнет, а дышит. И, зажмурившись, малыш сказал:

– Она как живая.

– Это гилавар<sup>11</sup> в ней спит. Ветер такой. Послушай... Слышишь? Ворочается и ворчит.

– Ворчит, – соглашается мальчик.

– Потому что недоволен. Он любит дразнить море. А я не разрешаю. Здесь его держу. А когда нужно, встряхну зюйдвестку – и он вылетает на волю. Как расшалится, я его снова сюда.

– Как дразнит?

– Играет с ним. Щекочет. Когда тебя щекочат, ты дрыгаешь ногами, хохочешь. А море так расхохочется, что нам, рыбакам, не до смеха.

– Выпусти его. Он меня не слушает.

– Здесь нельзя, – убеждает Ага Рагим мальчика. – Гилавар только у моря может жить. В Балаханах он погибнет. В мазуте завязнет. Задохнется среди этих вышек... Приедешь ко мне, там, у моря, сам выпустишь его погулять.

Степь дышала парным молоком. Ее дыхание стлалось по-над сизой полынью и по-над темными кустами колючек. Не остывший за ночь песок пах теплым коровьим выменем. От сельских домишек, плывших вместе с дымкой в едва мерцающую синеву занимающегося рассвета, неслись очумело ликующие крики петухов. Они всегда так заразительно радостны. Так, черт возьми, будоражат, что мысли об усталости, отдыхе и сне начисто исчезают. «Вдохновенная птица», – запустив пятерню в песок, подумал Ага Рагим, и тут же представил себе, как им, петухам, выворачивают крылья и над туго трепещущим гребнем, похожим на восходящее солнце, белой молнией сверкает лезвие ножа. И из той гортани, что каждое утро провозглашала новый день, под ноги кипящей струей выплескивалась кровь.

А с рассветом кричат другие петухи. Орут отчаянней прежних и так, что кажется, они не поют, а трубят. Да так, что жилы натягиваются, как вытянутый под парусом ливень.

Оттуда, где сонливо ворочалось море, потянуло холодком. Ага Рагим поежился. Потом голова его вынырнула из зыбкой дымки и с минуту покачивалась на ней. «Наконец-то», – щедро вздохнув молочного рассвета, пробормотал он и снова растянулся на песке.

...Ни то что арбы, которую он ждал здесь битый час, но и дороги невозможно было разглядеть. Диковинно устроенный слух его уловил приглушенный шаг старой клячи и даже ее фырканье. Будь рядом Фимка Сапсан, он точно сказал бы: «Туземец ты и чутье у тебя туземное». Обычно хмурый Фимка Сапсан – гроза отпетых уголовников и хитрец, каких не видел свет, шептал их ему на ухо в тайге с нескрываемым восхищением...

---

<sup>10</sup> Салам, ами – (с азерб.) «Здравствуй, дядя»

<sup>11</sup> Гилавар – местное название дуоющего с юга легкого ветерка

Арба остановилась у корявого инжира, изломившегося в позе человека, который, встав со сна, сладко потянулся и так застыл на века. Здесь, возле него, дорога раздваивалась двумя языками. Один лежал в лозах меж «инжирников» и тутовника и кончался у села. Другой – тянулся по песку и концом своим уходил в море. Лошадь глухо била копытом по земле и косила глаза на возницу. Тот спал и спросонок дергал вожжами. Ага Рагим беззвучно рассмеялся и, взяв под уздцы лошадь, потянул ее к морю. Когда животное, чуть не по колено увязнув в ракушках, дернуло застрявшую повозку, аробщик инстинктивно натянул вожжи и только тут очнулся ото сна.

– Сабахын хэйр, гардаш джан!<sup>12</sup> – крикнул ему Ага Рагим.

Парень проворно соскочил вниз, и они вдвоем потянули лошадь туда, где стояла лодка.

Мальчик тоже проснулся. Ему было холодно, хотелось писать и вообще надоело прятаться. Но обнаруживать себя пока не решался. Он некоторое время сквозь щель кузова наблюдал за фигурами двух взрослых людей, тащивших куда-то лошадь. Он их хорошо видел. Уже совсем рассвело, хотя солнце еще не выглянуло. В одном из них мальчик узнал Ага Рагима. Рыбак улыбался. Свободной рукой он помахивал зюйдвесткой. О чем говорили взрослые, мальчик не слышал. Гремела ракушка. Потом арба развернулась, и мальчик прямо-таки обмер. На глаза, прильнувшие к узкой щели, наплыла необычайно синяя, с сиреневатым оттенком, колышущаяся масса света. Ему не видно было ни конца ни края. Оно дышало. Это было море. Над ним летали белые птицы. Потом по нему заскользили желтые и красные лоскуты. Это солнце пустило по морю свои парусники.

Мальчику расхотелось играть в прятки. Он спрыгнул и прямо в ботиночках забежал в воду. Вода ожгла его холодом. Мальчика это сильно удивило. Он нагнулся к легкому накату, поплескал в нем ручонки, набрал горсть воды, сбросил ее впереди себя и со счастливой мордашкой, вприпрыжку, загребая ногами воду, побежал по отмели. Двое взрослых, занятые разговором, всего этого не видели. Их остановил восторженный крик ребенка.

– Шкипер! – кричал он. – Дай твою шапку!

Ага Рагим тотчас же узнал в бегущем сорванце сына Махмуда бека.

– Бах-о!<sup>13</sup> – воскликнул он. – Ты привез его?! – строго спросил он брата.

Тот покачал головой. Ага Рагим все понял.

– Откуда ты взялся? – строго спросил он подбежавшего мальчика.

– Оттуда! – махнул мальчик рукой в сторону моря.

– Со дна морского что ли?! – раздраженно процедил парень.

– Угу, – обезоруживающе улыбаясь, буркнул мальчик и повернулся к Ага Рагиму.

– Дай шапку, шкипер. Хочу с ветром поиграть.

– С трусливыми беглецами он не играет, – задумчиво проговорил Ага Рагим.

– Я не убежал... Мне папа с мамой обещали отпустить к тебе, когда вернутся, – изворачивался мальчик.

– Что?! И ты посмел ослушаться?! – сурово сдвинул брови рыбак.

Опустив голову, мальчик молчал. Он готов был расплакаться. Вместо него все объяснил ему Мехти. Родители, как сказал ему Ашраф, уехали в Тифлис, а его оставили с учителем.

– С Николаем Васильевичем? – приподняв пальцем за подбородок опущенную головку, спросил он.

– Угу...

Отвернувшись от ребенка, чтобы не видеть его страдальческой мордашки, Ага Рагим о чем-то задумался и, что-то, видимо, решив для себя, сказал:

<sup>12</sup> «Доброе утро, брат!» (азерб.)

<sup>13</sup> Междометие, аналогичное русскому: «Ты смотри!»; «Вот это да!»

– Хорошо. Побегай здесь. Потом разберемся. И возьми это, – стянув с себя зюйдвестку, рыбак протянул ее мальчику.

Выхватив «смелую вещицу» и что-то нашептывая в нее, мальчик вприпрыжку побежал прочь.

– Ты знаешь, кто он? – глядя на мальчика, спросил он брата.

– Сын Махмуда бека...

– Он внук нашего дяди. Дяди Сабира. Сын Вахида...

– Да что ты?! – обалдело глядя в сторону мальчика, разинул он рот.

– Жена Вахида – сестра Махмуда бека.

– Он племянник нам?

– Никому не болтай об этом. И глаз с него не спускай... Мне нужно в город. По пути заеду в Балаханы и предупрежу Николая Васильевича... Уговорю. Пусть погостит у нас, пока родители в отъезде.

## 2

Возникшая ситуация устраивала Ага Рагима. Даже была очень кстати. В последнее время околоточный с приездом из города шпиком не спускали с него глаз. Ходили за ним буквально по пятам. Причину рыбак знал. В Баку, объявился Фимка Сапсан...

Может быть, на донос какого-то подонка о том, что по городу шляется известный одесский жулик Ефим Коган по прозвищу Фимка Сапсан, который якшался с политическими, жандармы не обратили бы внимание. Но через несколько дней после того, как его засекли, был ограблен филиал банка известного нефтепромышленника Манташева. И полиция бросилась искать одессита. Он же, как выяснилось позже, никакого отношения к этому ограблению не имел.

На Ага Рагима жандармы вышли быстро. Но о том, что они встречались с Коганом и были все это время вместе, никто кроме них двоих не знал. У них была своя связь, оговоренная ими в Одессе, куда Ага Рагим заехал после отбывки срока. Они тогда условились, что если вдруг Ефим объявится в Баку, он никаких писем с известием об этом присылать не станет. Каждую последнюю пятницу месяца на «кубинке»<sup>14</sup>, где вывешиваются различные сообщения, должно появиться объявление, написанное красным карандашом или чернилами, следующего содержания: «Требуется красная икра в таком-то количестве. Обращаться по адресу: улица Одесская, номер такой-то...» Количество означало дату, а номер дома – час встречи. Место свидания было неизменным – Бакинский порт, причал лодочной верфи.

Объявление с условленным текстом Ага Рагиму привез брат, которого он вместо себя иногда посылал в Баку.

Парусник Ага Рагима, поджидая гостя, стоял на привязи заброшенной пристани. Ее рыбак выбрал специально. Она выходила к убогим жилищам Черного города<sup>15</sup>, в коих ютились рабочие нефтеперегонных заводов. По утрам здесь было пусто. Только ватаги ребятишек со стальными прутами-саблями в руках бегали по отмели, гоняясь за кефалью.

Ефима он заметил издали. Узнал, как узнают еще на горизонте, зашедший, после долгого отсутствия в родные воды, корабль, – по силуэту. Но вот он приблизился, и Ага Рагим засомневался – он ли? Этот щеголь с расхлюстанной походкой ничего общего не имел с бывшим его товарищем по каторге. В расстегнутом, сшитом из дорогого сукна пиджаке, при галстукке, поблескивающей на поясе массивной цепи карманных часов и в брючках из самого модного материала в полоску. А походка? Так ходят люди, впервые увидевшие море. На роже глупая

---

<sup>14</sup> Сохранившееся по сей день название Бакинской толкучки

<sup>15</sup> Район Баку, где сосредотачивались (кстати, до сих пор) нефтеперегонные заводы, заволакивая чадом и гарью всю окрестность.

радость наслаждения, будто бы от дурмящих его запахов, хотя именно здесь, кроме мазутной вони, тухлятины и сизых испражнений, текущих ручьями от убогих жилищ, ничего приятней не унюхаешь. «Чтобы при галстукке, в шляпе да с тростью, и Фимка, – налаживая парус, думал Ага Рагим, – не может быть». И, досадливо сплюнув за борт, он углубился в свою работу.

Рыбак менял прелую веревку, пронизывающую по низу полотно паруса, на новую. Дело муторное, требующее основательности и сноровки. Наверное, поэтому он и не заметил, как этот форсливый субъект, бесшумно вспрыгнув на пристань, встал у него над головой.

– Любезный, далеко ли до мыса Поганого? – внимательно оглядывая морской простор, спросил субъект.

– Фимка, гардашым, сен!<sup>163</sup> – подскочил с места рыбак.

– Ша, Рахимка! Не ряби так ряно... Зыркни получше, нет ли на моем шлейфе павлина?

– Никого нет... Я тебя сначала узнал, а потом думал обознался.

– Что, оснастка не та?

Ага Рагим кивнул.

– Как я рад тебя видеть, басурман ты мой милый! – запрыгнув в парусник, сказал он. – Теперь верю, что в безопасности. Все у нас с тобой

получится. А то я здесь уже семь дней, а уже в трех малинах успел побывать. Последняя, где остановился вчера, совсем мне не показалась. Сучьим духом от нее разит.

– В Одессе адреса брал?

– Удивляюсь на твой вопрос, – говорит он на одесский манер и деловито интересуется: – Раздеть штиблет и разуть пиджак есть на что?

– Конечно! – разводит руками рыбак. – Всего переодену.

Ага Рагим прошел к корме и, отворив в ней дверцу, ведущую в закуток, извлек из него свитер, сапоги, брюки, рубашку... Протягивая все эти вещи другу, он опять спросил:

– Хороших адресов не мог взять?

– За хорошими дверями, Рахимка, меня псы поджидали, – стягивая с себя штаны, пропел он. – Тебе, кстати, привет от нашего старшого.

– Спасибо, – кривится Ага Рагим. – Привет за то, что я хорошо приму тебя?

– Ты меня наповал убиваешь, брат Рахимка! Старшой-то у нас... – Ефим стукнул себя по колену, – догадайся, кто?

Рыбак развел руками.

– Наш старшой... – Коган помедлил, – Яшка Шофман.

– Яков Сергеевич?!.. Ну, спасибо. Хорошая новость.

– Товарищи из Питера к нам его послали. Порядок наводит. Приручает блатную братию.

– Волк поводка не примет, – хмыкает Рахимка.

– Если поводок по духу – примет, – натягивая сапог, говорит Фима.

Ага Рагим пожимает плечами.

Пока гость одевался и рассказывал, Ага Рагим успел заставить корму парусника снедью и вытащить из заначки штоф водки.

– Вот это по-царски! Вот это по-нашенски! – потирая руки, воскликнул одессит и тут же спросил: – Ты чего так на меня глазеешь, басурманище? Это я. Я, Ефим Коган.

– Узнаю, – буркнул рыбак. – И по лицу и вот по этому, – Ага Рагим показал, как Фимка потирает руки.

Этот Фимкин жест врезался ему в память на всю жизнь. Повторить его можно было, но при этом что-то, принадлежащее только ему, Когану, все-таки терялось. Потирая руки, он как бы становился в боксерскую стойку и чувствовалось, как все его существо, оставаясь неподвижным, сворачивалось и сжималось для решающего броска. И не дай Бог кому стать на пути

<sup>163</sup> «Гардашым сен» – брат ты мой /с азерб./

этого прыжка. Ага Рагиму приходилось наблюдать его чудовищную силу. В ту зимнюю ночь на таежной дороге она показала себя во всей страшной красе.

То было первое и самое серьезное задание боевой группы, созданной Яковом Шофманом в сибирской глухомани, в Медвежьем остроге, где заключенные жили довольно свободно. Запросто навевались в кержацкий поселок, называемый Угрюмой заимкой. Поселок стоял за несколько верст от острога, неподалеку от большака. Правда, еще не так давно заключенные ходили туда без всякой охоты. По необходимости. Когда нужно было приобрести чего-нибудь из съестного и одежды. Некоторые заводили там женщин. Но как только на заимке становилось известно, что какой-то каторжанин повадился к местной деваче, ей там не давали житья. А чужачка могли зарезать или из кустов, жаканом, снести голову. Никто ни с кого за это не спрашивал. Не один ушел в небеса по глухой тропке, что вела из заимки к острогу. Враждебен и лют был кержак к людишкам, отбывающим здесь срок. И молодки не раз бежали из отчего дома под тюремные стены, где вместе со своими соблазнителями обзаводились детьми, хибаркой да хозяйством.

Острожане из Медвежьего в бега не пускались. Некуда было. Если уйдешь вдоль большака, ведущего в Красноярск, наверняка угодишь в лапы жандармам. О каждом шаге беглецов – где они заночевали, что ели, в каком месте их надо было поджидать – им доносил местный, охочий и потому приметливый, народец. . .

Бежать через тайгу – верная смерть. Безумцы находились. Пропадали они. Либо становились добычей зверья, либо их самих, как зверей, отстреливали кержаки-охотники. Просто так. Награды за это власти им даже не сулили. Но что правда, то правда: за убиенных тоже не спрашивали. Хорошо, если потом от останков беглецов находили кости.

К тому времени, когда сюда пригнали Якова Шофмана, Бурлака, Сапсана и Басурмана, между каторжанами, отпущенными на вольное поселение под бревенчатые стены острога, и людьми Угрюмой заимки установился относительный мир.

Отпетые душегубы, которым нечего было терять, не уступали угрюмским людишкам в жестокости. Даже, пожалуй, превосходили. Мстили неотвратимо, с садистской изощренностью. Для устрашения своих подленьких соседей пустили в ход поговорку: «За око – два ока». И стала та поговорочка неписанным законом, установившим, пусть худой, но мир.

Равновесие поддерживали политические. Разношерстные по своим идейным убеждениям, они здесь, вместе со всеми, находились, по существу, в одинаковом положении. Острог их нивелировал. До политики, как думалось жандармам, отсюда было далеко. А тем, кто в том, в своём далеком, варился в оной каше, было уже не до неё. И политические, которых в Угрюмой презрительно называли «интеллигентами», чтобы противостоять местному сучьему мужичью и откровенной уголовщине, вынуждены были объединиться в одну организацию. Объединение это не имело четкой идейной физиономии. Оно походило на элементарное человеческое содружество, цель которой заключалась в том, чтобы выжить и не одичать. Его придумал сосланный сюда из Самары врач Куприян Бенедиктович Кондаков. Он же и руководил содружеством.

Жил Кондаков в одном из домишек, что тесно ютились вокруг тюрьмы. За много лет их здесь выросло до сотни. Здесь же для ссыльных и безграмотных местных людей он организовал школу. В ней три раза в неделю, в основном по вечерам, обучались изъязвившие на то желание каторжники. Начальство Медвежьего ничего в том дурного не видело. Во всяком случае, не мешало ни школе, ни своим заключенным.

В губернии эта стихийно возникшая деревушка была зарегистрирована под названием «Медвежья выселка». Сюда они слали свои циркуляры, на пакетах которых писали: «Заимка Угрюмая, Медвежьи выселки. Смотрителю острога «Медвежье» г-ну Черновалову».

Почты в Медвежьих выселках не было. Письма и посылки доставляли в Угрюмую, а потом уже к ним. Как правило, это делал кто-нибудь из политических вольнопоселенцев. Сна-

чала это делал Кондаков. Но после того, как его однажды угрюмчане чуть было не прибили за пятьдесят рублей и десяток посылок, что он вез адресатам на своих санях, он перестал заниматься столь полезной, но, как выяснилось, опасной перевозкой. Хорошо, следом за ним ехали ребята, возвращающиеся домой на Медвежью выселку. Порядком хмельные, они горланили блатные песни, и в сумеречном морозном безветрии их голоса разносились чуть ли не за версту. Иначе пропал бы Кондаков... Разбойничкам удалось бежать, захватив с собой все посылки и деньги, присланные жильцам выселки из большой земли.

После этого, по просьбе Куприяна Бенедиктовича, доставкой почты стал заниматься угрюмский мужичок – Витек Макаров, слышавший удачливым разбойником. И хотя за ним ходила худая слава, у властей кроме слухов на него ничего не было. А может, что и было, но они помалкивали. Витек жадным не был. Из того, что грабил, он всегда делился с высоким, по местным меркам, полицейским начальством. Оно-то и закрывало глаза на его шалости. А чего им было их не закрывать? Шалил-то он далеко от дома.

Макаров согласился привозить в острог почту без раздумья. И согласился не столько потому, что Куприян жил с его сестрой и бесплатно всех их лечил, а потому, что через это ненужное ему извозчицье дело хотел услужить и быть на хорошем счету у смотрителя Медвежьего острога Черновалова. Тот, как-никак, жандармский капитан, под чьим присмотром находились все окрестные людишки...

В той, созданной Куприяном, школе преподавал теперь и давний его знакомец, доставленный сюда из Поганого, инженер Заворыкин. Его месяцем раньше выслали сюда на вольное поселение.

Куприян вместе с Заворыкиным прикатили в острог сразу же на следующий день после прибытия новой партии каторжников. Оказалось, Куприян Бенедиктович с Шофманом были земляками и встречались на собраниях и рабочих сходках Самарской организации РСРДП. И Кондаков хорошо знал, что Яков Сергеевич, будучи одним из руководителей самарских большевиков, лично знал Ульянова и, бывало, сопровождал его по подпольным ячейкам, где тот читал лекции о марксизме и насущных задачах социал-демократов России.

Кондаков уже с неделю как получил от красноярских товарищей известие о том, что Шофман переводится в их края. С этой же новостью ему было передано письмо, предназначенное лично для Якова Сергеевича.

С содержанием этого послания Шофман познакомил всех на первом же закрытом собрании ячейки. На нем, кроме Якова, Куприяна, Заворыкина и Витьки Макарова, присутствовали Коган, Спириин и Ага Рагим.

– Тех, кого я привел, – сказал Яков Сергеевич, – это уже проверенные нами товарищи. Они должны услышать и проникнуться всем тем, что здесь будет говориться, так как им придется составить основное ядро создаваемой нами боевой группы.

Кондаков и Шофман подробно рассказали о событиях, происшедших в центре России, о поражении первой русской революции, о мужестве мятежных моряков броненосца «Потемкин», о питерских, московских и бакинских рабочих, добившихся ряда демократических привилегий, и о том, как царизм безжалостно расправился с восставшим народом.

– Силен, знать, царь, – пробубнил Спириин, – коль мог всю поднявшуюся Расею угомнить.

– Да, царь силен, – согласился с Бурлаком Яков Сергеевич, – но народ сильнее его во сто крат. Если бы все поднялись, тогда, – мечтательно протянул Шофман, – совсем другое дело было бы. Это, во-первых, а во-вторых, те, кто поднялся, оказались без настоящих партийных руководителей, которых охранка разогнала по тюрьмам да по ссылкам и бросила на войну с японцами. В-третьих, как стало известно, из-за распрей в самой партии между большевиками и

меньшевиками отсутствовала четкая революционная программа... Эх, да что говорить, причин много, – сокрушенно вздохнул Шофман.

Воспользовавшись паузой, Куприян поднялся и продолжил:

– По этому поводу, товарищи, руководитель Центрального органа РСДРП Ульянов, между прочим, лично знающий нашего Якова Сергеевича, об этом хорошо написал... – он поднял над головой тоненькую брошюрку. – Нам надо всем извлечь уроки из этого поражения. Готовить новую революцию уже сейчас, сию минуту и быть к ней готовым. А она может вспыхнуть скоро. Быстрей, чем мы с вами, находясь здесь, думаем.

– А когда вспыхнет, – подхватил Яков Сергеевич, – зависит от таких, как мы. От наших дел. Нам нужно агитировать и привлекать в наши ряды верных и надежных людей. Делать их беззаветно преданными нашему делу борцами.

Последние слова он произнес с вызовом, бросив многозначительный взгляд на Заворыкина с Кондаковым. Но они промолчали. Только отвели глаза.

– Среди нас немало нужных нам, решительных, готовых на все людей. Мы с ними вместе живем, работаем, делим черствый хлеб царской доли. Мы пока малочисленны и бедны. У нас, может быть, прекрасная теория, правильная программа, но без средств мы ничего не сможем добиться. Издавать газету, покупать оружие, поддерживать семьи революционеров и самих революционеров... А где взять их, эти деньги?

Вопрос повис в воздухе. Наступило долгое молчание. Его нарушил ворчливый бас Бурака:

– С кистенем на дорогу надобно...

– Надобно! – подался вперед Шофман. – Но не кого попадая грабить. – И тут же спохватившись, поправился: – Не грабить, а экспроприировать. То есть отбирать у тех, кто веками на нашей кровушке наживался.

Шофман перевел дыхание и, откашлявшись, продолжил:

– Вот мы и подошли к главному. Мне городской организацией большевиков поручено создать боевую группу из сильных и преданных народному делу товарищей. Мы должны стать боевой единицей партии. Активно заниматься и здесь, и на свободе экспроприацией экспроприаторов. Нам, то есть таким как мы боевикам, партия поручает самое ответственное задание пополнять партийную казну деньгами, золотом, драгоценностями... Без них революции не видать как своих ушей.

Так была создана боевая группа Шофмана. А вскоре товарищам из города стало доподлинно известно, что на Дальний Восток через Красноярск, по тракту, считающемуся самым безопасным, пройдет кибитка, груженная деньгами и слитками на сумму в полмиллиона рублей...

Завладеть той кибиткой поручили шофманцам. На помощь им подослали еще двух товарищей. Они прибыли сюда загодя. Правда, их помощь заключалась лишь в том, чтобы сразу после захвата переложить деньги в свои сани и укатить с ними в город.

Шофман в той операции не участвовал. Он заболел. Налетом руководил Кондаков. На дорогу вышла боевая группа с двумя городскими посланцами. Они все время держались рядом с Кондаковым.

... – Я больше не могу. Окоченел, як барбос, – простучал зубами Спирин.

– Выть хочется, – поддакнул Фимка Сапсан.

– И то правда. Псам и волкам легче. Повыл раз-другой, и кочень от костей отлегла.

– Пробовал?

– Угу.

– Таки повой.

– Не могу. Мороз глотку кандалами сковал.

– Хош вой, хош бряши на антихристову пуржищу... Но сдается, прокатили уже мимо нас золотые саночки, – тускло отозвался замороженный с ног до головы Витек Макаров.

Ветер по-жигански лезвием полосует лицо. Не дает смотреть на дорогу. Жалит глаза. А стелет ветер мягко. Поземкой стелется. Скрипят мачтовые кедрачи. Зябко трясутся ели. Ветер со скандалом вытряхивает их из теплых снежных шуб. Рвет их в клочья. И со злым удовольствием визжит. Заправский жандармский шмон.

Ни зги не видно. Вообще смотреть на дорогу невозможно. А надо. Чтобы не пропустить долгожданных к заимке. Разделаться с ними здесь, в версте от нее. Там много свидетелей.

И они смотрят по очереди. Ага Рагим, Фимка Сапсан, кержак из местных Витек Макаров, волжанин Спириин по кличке Бурлак и двое городских. Ни фамилий, ни кличек их толком никто не знал.

Очередь была за Спириным. Он ерзал и просил Господа дать ему терпение выдюжить. В теле стыла кровь. Он бил себя по бокам и кричал. Кровь должна быть горячей. Спириин в этом был убежден. Все самое трудное делается с горячей кровью. Горячая кровь – это хорошо. Он думал о горячей крови, чутко прислушиваясь к себе, к дороге и к голосам сотоварищей.

– Завыть не смогу. Сплясать – спляшу и Рахимке-басурману бока намну, – услышал он мерзлый голос Макарова, а потом возню.

Потом пошла свалка. Фимка Сапсан с двумя городскими тоже ввязались...

«Кровь разгорячают ребятушки», – одобрительно подумал Спириин.

Потом все опять стихло. Сапсан из-под полушубка вынул фляжку.

«Самогонца кушают», – сглотнув слюну, определил Спириин.

– Бурлак, глотни и ты сугревательного, – предложил Макаров.

– Благодарствую.

Фимка Сапсан исподтишка наблюдал за ним. Спириин зажмурился. Он слушал, как по жилам побежал огонь и тело пыхнуло жаром. Смотреть на постылую дорогу расхотелось. И он снова сказал:

– Городошники сбрыхали. Золотых саночек не будя. Неча зенки пялить.

– Не бузи, Даня. Ты товарищей из города не знаешь, и не лепи на них.

Яков Сергеевич тебя особо предупреждал, – вплотную придвинувшись к нему, сказал Фимка Сапсан.

Спириин виновато хлопал глазами и послушно повернулся к большаку.

Ослушаться Фимки он никак не мог. И никогда не смел. Даже, как говорили в бараках уголовников, побаивался его. Хотя одна ладонь Данилы Спирина могла покрыть всю Фимкину грудь. А Фимка не из слабогрудых. Вдвое меньше Данилы, он, как шлюп, был сколочен добротно. Досточка к досточке. Да и парус его кудрявый – светлый. В Одессе, откуда Фимку за убийство полицейского поставили в этап, шагавший в Сибирь, он слыл знаменитым вором. В остроге Поганом, где политические, как в свое время и здесь, в Медвежьем, содержались в одном бараке с уголовниками, Фимка тоже прославился. Ухайдакал четверых бандитов. И каких! Сибирь кандальная их по имени-отчеству величала. На звериной душе упокоенных много безвинной крови напеклось. И с тех пор Фимка Сапсан накрепко завязался с политическими.

– Тихо! – прикрикнул на распалившихся товарищей Ага Рагим. – Едут.

Все затихли. Прислушались.

– Померещилось тебе, – сказал один из городских. – В эту какофонию издали их не услышать.

– Едут, едут, – уверенно повторил Ага Рагим. – Надо готовиться.

Даня Спириин, оттянув ухо собачьего малахая, на минуту замер, а затем угрюмо выбасил:

– Прав Рахимка. Идуть.

Сомнений больше не оставалось.

– По местам, ребята. Даня, начинай! – скомандовал Сапсан.

Спирин перекрестился и плечом надавил на ствол заранее подрубленного кедра. Тот рухнул поперек большака. Макушкой за обочину, телом – на дорогу. Дальше все пошло как по писанному.

Минут через пять появилась трусцой бегущая тройка, погоняемая по макушку заснеженным ямщиком... Налетчики заняли исходные позиции. Фимка стоял за кустом боярышника у самого края дороги. Ага Рагим, притаившись в нескольких шагах от одессита, страховал его. Подмигнув ему, Коган восхищенно сказал: «Туземец ты и чутье у тебя туземное».

Ямщик оказался опытной бестией. Для такого любой буран не помеха. Он осадил лошадей метров за пять от сваленного кедра. Коган сбросил варежки, выхватил из-за голенища финку и, потирая руки, стал ждать.

Ямщик какое-то мгновение уставился на препятствие, посмотрел по сторонам, зацепился взглядом за что-то, очевидно, показавшееся ему подозрительным, и вдруг с подвыванием закричал: «Засада, братцы!» И тут перед самыми глазами Ага Рагима что-то взметнулось. Темный сгусток энергии, в какую превратился Коган, сшиб кучера с козлов. Пока они, обнявшись, падали, Фимка успел махнуть рукой, в которой мелькнул нож, и Рахимка почувствовал, как синее широкое лезвие его, скользя по ребрам, обожгло сердце жертвы. Лошади всхрапнули и попятились назад, сбив с ног жандарма, выскочившего из кибитки с револьвером в руках. Толчок, опрокинувший его, и спас Фимку от верного выстрела. Эта секундная заминка была достаточной для того, чтобы одним кошачьим прыжком Фимка смог покрыть расстояние, отделявшее его от упавшего. И тот затих. Второй жандарм, выпрыгнувший из других дверей, не успел, наверное, и глотнуть морозного порыва. Ему на голову обрушился Данькин кистень.

Золотые сани были взяты. Оставалось лишь замести следы, чтобы не сразу спохватились о пропаже кибитки. И это тоже было продумано.

... – Не перестаю удивляться на тебя, – пристально глядя на грудь друга, говорит Коган. – Задумчив ты очень.

Вместо ответа Ага Рагим чокнулся с ним и одним махом опрокинул водку в широко открытый рот. Затем неторопливо, ухватив лоскутом лаваша черной икры, сказал:

– Я рад тебе, Фима. Хотелось, чтобы всегда так было хорошо.

– Без поганых острогов, – согласился Коган. – Однако не будь их, мы друг друга не узнали бы...

Снова разливая по стаканам водки, он добавил:

– А я тебя тогда, на Поганом, полюбил. Ты показал отменный урок фехтования на кинжалах. Я там понял, что для кавказского человека кинжал – отец родной.

Ага Рагим отрешенно улыбнулся.

### 3

Подробности той истории, происшедшей в Поганом остроге, мало кто знал. Убийство всех четверых приписывали Фимке. Случившееся по прошествии времени обросло неправдоподобными, чудовищными подробностями. О роли волжского бурлака Данилки Спирина и Рахимки Басурмана, то есть Ага Рагима, об их, пожалуй, самой главной роли в этом деле забылось вообще. Никто не помнил, что сюда, в Медвежий острог, их всех привезли подальше от беды. Ни черта ничего не знали и не помнили, а городили черт знает что. Впрочем, им знать что-либо было не нужно. Им лишь бы посмаковать, да покоротать время за пустобрехством.

А Басурман не просто помнил. Помнить можно по-разному. Ворошишь память, ворошишь, пока, наконец, не извлечешь оттуда приятное или неприятное. А есть такие двери из множеств кладовых памяти, к которой хочешь забыть дорогу, а не можешь. В чуланах памяти есть страшные двери. Случайной мыслью, совсем чужой, не относящейся к тому, что лежит за

ней, приблизишься... И... она, как мощный водоворот, засосет, закрутит. Сколько не барахтайся. И хоть не робкого десятка, да пережито все давным-давно, а потом холодным все равно изойдешь.

Побоище назревало исподволь и давно. Политические терпеливо сносили издевательства уголовников. Их оттеснили в вонючий угол, где испражнялась вся камера. Парашу выносили только политические. Такой порядок установили отпетые головорезы, державшие в остроге Поганом верхушку. В ту пору так было, пожалуй, в тюрьмах всей Сибири. Так было до тех пор, пока мало-мальски соображающая блатная братва, под натиском свежего потока необычных для обычных заключенных мыслей людей, пригоняемых на каторгу за политические дела, не поняла одной простой истины. Она была не хитрой.

Сиятельный, с двуглавым орлом рублик, единственный, дающий благо в этом мире, заставлял их с ножом и топором выходить на дорогу. Черствым сделал сердце, в крови испачкал руки. Изломал без того короткую жизнь... А этих подслеповатых, хилых на грудь, царь боялся. Он их гнал сюда на верную погибель. Они в него кидали бомбы, стреляли. На вид такие же, как и они, люди. Только на вид. В чем-то главном они все-таки не такие. Они знают, что все зло в нем, в самодержце всея Руси, и тех, кто Русь святую держит за свой карман, который охраняется солдатами и жандармами. Только политические хотят, чтобы не одним им, а всем было хорошо. И уставшие от мытарств бродяги, воры и бандиты начали понимать, что им с политическими делить нечего. Интерес, по их понятию, был у них один: чтоб Расея для всех стала одним карманом. Дувань сколько хочешь. На этом и был поначалу заключен союз. Но к этому союзу пришли не сразу. Пришлось пройти через многие жестокости и кровопролития...

Шахту, в которой работали каторжники Поганого острога, называли Сороконожкой. Окрестили ее так с легкой руки бывшего студента Киевского горного института Федора Заворыкина и с точного слова уголовного князя Григория Ямщицкого. После очередного обвала со взрывом, раздавившего и спалившего огнем шестьдесят заключенных.

Холодный и темный барак, со смрадной вонью гниющей соломы и испражнений, по покойнице молчал. Уродливыми каменными идолами, в самых нелепых позах замерли люди. Мокрые, в черных лохмотьях, в смерть уставшие и продрогшие. Но вот на половине политических вспыхнул фитилек керосинки. Потом раздался хриплый, надорванный чахоткой, голос студента.

– Товарищи, поближе ко мне. Я вас познакомлю с азами горного дела и расскажу об элементарных правилах безопасности... Те, кто сегодня не вернулся на свои нары, зная и соблюдая их, еще могли быть сегодня с нами.

– Погоди, Федор Устинович, – перебил говорившего бывший учитель из Питера Яков Сергеевич Шофман. – Надо бы всех позвать. Работаем-то вместе.

На стороне политических стало светлей. Оцепеневшие чучела ожили. Безадресно матюгаясь, толкаясь, тяжело шаркая ногами, они падали вокруг огня.

Уголовники на такие приглашения откликались охотно. Сначала для того, чтобы позубоскалить, а потом – чтобы послушать. Хорошо, язвы их душу, эти политические загибали. А Яшка Шофман такое заворачивал, что душу как носок выворачивал. Несколько раз за такую трепотню его бросали в карцер. А он возвращался и снова за свое. Но уже осторожнее. И при таких сборах об опасности его предупреждал весь барак. У двери, на стреме, стояли уголовники. Оттуда и видно было хорошо, и слышно. Надзиратель, заглядывающий в глазок, не мог заподозрить ничего предосудительного.

Яков Шофман вышел вперед.

– Товарищи! Сегодня под обвалом осталось лежать шестьдесят человек. Осиротели их дети. Потеряли сыновей своих чьи-то отцы и матери...

– На табуретку встань. Не видно, – крикнули из глубины, где располагались большая часть уголовников.

– На меня нечего пялиться. Не красotka я. Лучше пойдй погляди как изуродованы те, кто больше сюда не вернутся, – огрызнулся Шофман.

– Чо забижаешься? – добродушно отозвался тот же заключенный. – Голос у тебя фельд-фебельский, а сам сморчок-сморчком. Не видно ведь.

Яков еще шире расставил ноги, кашлянул и продолжал:

– Каждый день кто-нибудь из нас гибнет. И никому до этого нет дела. Нас, как вы понимаете, пригнали сюда на верную смерть. Но мы должны выжить. Должны, чтобы потом сполна рассчитаться с царем-батюшкой. С его челядью в жандармских мундирах и серых шинелях.

Шофман стоял взъерошенным волчком. Глаза его сверкали зеленью:

– Я знаю, мы еще вопьемся в Николашкино горло. Для этого мы сами о себе должны позаботиться. – Яков Сергеевич перевел дыхание, помолчал и уже более спокойно сказал: – Среди нас есть специалист. Ученый по горному делу. Он говорит, что многие несчастные случаи происходят по нашей вине... Мне кажется, он прав. Давайте послушаем его.

Заворыкин начал не вставая с места. Говорил сначала запинаясь, с усилием подбирая слова. И еще часто откашливался. По налившемуся кровью горлу то вверх, то вниз прыгал кадык. Он раздражал его. Горло вытягивалось. Лицо сжималось в ком. Широко раскрывшийся рот искал воздух. Потом Федор успокоился. Голос потек поспокойнее.

Заворыкин рисовал солнечные этюды прошлой жизни на земном шаре, суровую картину оледенения, гибель мамонтов и гигантских папоротников. И не преминул заметить, что сейчас все присутствующие здесь околевают как раз в этих, когда-то райских местах. Потом Федор стал объяснять строение земли. Слов не хватало. Надо было показывать наглядно. Сидевший у его ног Ага Рагим протянул кусок угля. Заворыкин прямо на стене принялся чертить.

– Ба! Матушка-то наша как слоеный пирог, – удивился кто-то, судорожно сглатывая голодную слюну.

– Голодной куме ляжка мамонта на уме, – съехидничали в полумраке.

– Не поперхнись, милай, – отозвался еще один балагур.

Барак грохнул смехом. Зашебуршились признанные остряки. Заворыкин хохотал и ждал, когда успокоится аудитория. Расшумелись каторжники. Унять теперь их было делом не из легких. И вдруг над всем этим из глубины звучит властное и угрожающее «Ну-у-у!»

Все в миг стихло. Это подал голос угрюмый Даня Бурлак. Задираться с ним не осмеливались. С боязнью поглядывали на два его молотилища, каждая с булаву. Правда, когда его пригнали сюда, кое-кто попробовал – двоих унесли отсюда бездыханными. Не довелось им больше очухаться. Вожаки барака хотели было проучить непокорного, но Спириным первым сделал ход.

– Ко мне, милай, шкрябаться не моги, – по-волжски окая, гудел он на другой конец барака вожаку по кличке Тухлый. – Я в своем законе. Один на льдине. За меня спросят. Найдутся такие. А сам я спрашиваю с кого надо. Бурлак я. Один на льдине. Слыхал, должно.

Эта блатная тирада Спирина, которую он произносил, старательно массируя спину Фимки Сапсана, остудила горячие головы уголовников. В градации воровских законов статья «один на льдине» стояла особняком. Их, принадлежащих к этой касте, было немного. Они никакого отношения к какой-либо банде не имели, но их услугами пользовались все. Таких были единицы. Они держались бирюками, и считалось, что отчаянней их не было, так как им терять больше в жизни ничего не оставалось. С такими не связывались, зная, что у них могла быть «охранная грамота» любой, самой неожиданной банды.

Спирина сторонились. И он тоже ни к кому не задибался. Ни с кем не разговаривал. Язык ему заменяли выразительные жесты и взгляды. Исключение составлял только одессит. С ним, с Фимкой Коганом, Бурлак был неразлучен. Ходил за ним как слон на привязи у моськи. Эта странная привязанность для многих была загадкой.

... После угрожающего Даниного окрика в бараке наступила тишина.

– Будя! – уже добродушно призвал он и ворчливо добавил: – Валяй дальше, ученый. О жизни, мать ее еги, еще подумать хочется.

Заворыкин, собираясь мыслями, поспешно рисовал на стене многоногое существо.

– Вот, – сказал он и запнулся. Потом рассмеялся. – Правильно заметил товарищ. Земля наша – вроде слоеной сдобы. Разные слои есть. В одном песок и глина, в другом сплошь камень и пустота, в третьем река течет не меньше Волги.

– Держи, шапки, братва. Свист! – прокудахтал, сидевший рядом с Ага Рагимом уголовник.

– Правда, товарищи, правда. Целые подземные моря есть.

В такое теперь уже Ага Рагим поверить никак не мог. И, обычно сдержанный, неожиданно для себя громко воскликнул:

– Яланчы, сян ёлясян!<sup>17</sup>

Позже Ефим будет знать, что Басурман, переходил на родные ему междометия и восклицания, когда его что-то очень поражало. И в том его выкрике, прозвучавшем на незнакомом языке, столько было недоверия, что Федор понял их смысл и сказал:

– Не сойти мне с этого места, Рахимка, но это так. Не то что моря – океаны! Например, газа... Но о них я расскажу как-нибудь потом. Сейчас просто поверьте мне на слово. Вам это нужно знать, потому что работаете под землей.

Потом Федор, показав на многоногое животное, нарисованное им, усмехнулся.

– Хочу вас, товарищи, познакомить. Это та самая шахта, в которой мы надрываем пупок. С главным тоннелем и со всеми штреками.

Заворыкин добросовестно изучил каждую пядь выработки. Знал ее перспективы. Что она сулит – видел на много метров вперед. И делился своими наблюдениями. Показывал наиболее опасные участки. Объяснял, чем они опасны, а главное, как углядеть беду.

– Хотите жить – не ленитесь ставить подпорки, – убеждал он. – Там, где работаете, не курите. Присматривайтесь к пламени горелки. Не всякий газ унюхаешь. Так что чуть неладное с пламенем – кайло на плечо и уходи в центральный тоннель. Там...

– Атанда<sup>18</sup>, братва, – раздалось предостерегающее от входной двери.

Дверь раз-другой с треском ударилась о стену. На пороге с поднятой ногой стоял Тухлый. Заключение черными зайцами шмыгали по своим местам. Лошадиная морда Тухлого вытянулась. Челюсть, словно отстегнувшись, упала на грудь, и, вместо удивленного возгласа, разверзнувшийся проем, с частоколом громадных зубов, издал тошнотворное рыганье. Потом, встав на обе ноги, плохо державшие его нескладное, налитое водкой тело, он, полуобернувшись, доложил:

– Яшка, гад, снова митинговал.

Потом, шаркнув сапожищами и изобразив, насколько позволяла ему лошадиная морда, значительность, Тухлый проржал:

– Его светлость князь Ямщицкий, дышло вам в сраку!

В мальстве Тухлый служил в лакеях у богатого московского барина. Не раз он видел, как дворецкий Кузьма Савельевич, а для старого барина, в зависимости от настроения Кузька или Кузовок, объявлял хозяевам о прибытии господ. И такой он был в этот момент важный и грозный, ну что генерал.

Кузьме Савельевичу жилось у бар лучше всех дворовых. Обитал отдельно во флигелечке. Хозяева относились к нему уважительно. Балаболили с ним на франкском и «аглицком». И он вел себя с ними так, будто никогда лаптей не пошивал.

---

<sup>17</sup> «Врет, чтобы я сдох» (азерб. идиома)

<sup>18</sup> Опасность! (жарг.)

Вся прислуга, которая была из одной с ним деревни, величала его Благодетелем. Каким-то боком и Васятка доводился ему родней. Неродной не спас бы сироту от неминуемой смерти. Кузьма Савельевич устроил Ваську истопником и часто зазывал к себе в светелку, где потчевал сладостями, а потом пытался приучить к грамоте. Но из-за этих атей-ятей, которые никак не складывались, и дрянных задачек Магницкого, Васятка не хотел приходить к Благодетелю, хотя пуще жизни любил конфеты. Его силком приводила сюда хозяйская кухарка тетка Федосья. Она ухаживала за Кузьмой Савельичем. И когда он с Васяткой занимался, никуда не уходила, тут же рукодельничала. Иногда, к неудовольствию Савельича, подсказывала тугодумному мальцу. Кузьма Савельич нервничал, но не дрался. Прекращал урок и приказывал тетке Федосье приносить откушивать чаю.

– Однако, – как-то, глядя на своего ученика, сказал:

– Ты, малец, ученым не станешь. Дворецким тоже.

– Это пошто? – спрашивал Васятка.

– Ты пирожные любишь? – прожевывая корж, в свою очередь задает вопрос Кузьма Савельич.

– Страсть! – будто не с губ, а с жадно побелевших глаз срывается его свистящий шепот.

– Ну вот, мон шер, сам и ответил. Сладости любишь, а трудиться ни в какую. Зело ленив и не смекалист. Видно, Бог не дал.

– Порченный он. Ни харей не удался, ни верхушкой, – отозвалась тетка Федосья.

Савельич поморщился. Васяткино лицо, видно, с детства изуродовал рахит. Сделал его жеребьячим. Голова словно дыня. Под маленьким ртом, губы которого не закрывались из-за крупных зубов и выпиравших десен, ядерной грушей свисала челюсть. Из-за глаз и бровей, что казались перевернутыми наоборот, и невысокого лба, все лицо его было, как опрокинутое. Когда он удивлялся, глаза забегали не под надбровицу, а западали вниз. Это особенно подчеркивали подсиненные белки.

– Не удалси малец. Не удалси, Кузьма Савельич, – не замечая неодобрительной гримасы Благодетеля, сетовала тетка Федосья. – Со рта течет, с ухов вонят. За собой, сколько не талдыч, не глядит. У нас, позор сказать, Тухлым его прозывают.

– Цыц, Федосья! – не выдержал дворецкий. – Никогда так не говори и дворне всей передай, чтобы никто не смел. Мне дозволено...

Федосья умолкла. Засуетилась. Забормотала что-то невнятное, нескладное. Почувствовав поддержку, Васятка, закатив глаза в мешки, угрожающе промычал:

– Пошамкай мне. Пошамкай, старая карга...

– Ах ты, паршивец! Стращать меня вздумал!? – взвилась кухарка.

Кузьма Савельич стукнул по столу. И после тяжелой паузы приказал:

– Ступай, Васька, к себе.

Когда за ним закрылась дверь, дворецкий задумчиво протянул:

– Четырнадцать лет парню... Однако коль здесь нет, отсюда, – он хлопнул себя по заду, – отсюда не достанешь... А ты, Федосья, того... Жалеть надо убожца. Не давай обижать. Ко мне, однако, не приводи больше.

После этого Васятка никогда к Благодетелю во флигель не зазывался. Оттого он еще больше возненавидел тетку Федосью и пуще прежнего возмечтал стать дворецким. Чтобы жрать от пуза и всеми слугами повелевать.

Года через три Васька-Тухлый кочергой на смерть прибил кухарку. Она случайно увидела, как Васька, воровато озираясь, что-то у сарая зарывал в землю. Сначала не придавала значения. А когда молодая барыня подняла шум, что у ней из комнаты пропала бриллиантовая брошь, Федосья вспомнила об этом. Никому ничего не сказав, она отрыла краденое и позвала истопника на кухню.

– Вот тобой уворованная штука. У сарая ты ее сховал, – сказала она с негодованием. – Возьми, поди отдай барыне. Упади в ноженьки. Может, хозяева смилостивятся, не накажут.

Васька схватил кочергу...

И понесла его жизнь по трактам и острогам. Порастрясла на неровных дороженьках его мечту. Блукала она, изодравшись в воровских зарослях малин, где Васька сотоварищи после разбойств нажирался власть и буйствовал. И только под сильную хмель, до слез сжимающую сердце, из далеких потемок очерстневшей души, доносилось ее тоскливое «Ау-у-у!..» Тогда в перевернутых рахитом мутнях он отчетливо видел себя осанистым красавцем в золотом шитье дворецкого, шпарящим на франкском и английском. В такие минуты, подражая Савельичу, Васька как сейчас ржал:

– Его светлость князь Ямщицкий! – а чтобы присутствующим было ощутимей, подпускал брань.

... Сунув старшему из охраны серебряный полтинничек, князь по-хозяйски прошел в распахнутые пинком Тухлого двери.

– Мон шер Квазимодо, следуйте за мной, – пригласил он застывшего у порога Тухлого.

Васька от обращения «мон шер», напоминавшее ему прошлое житье-бытье у московского барина, таял, как свиной смалец. От удовольствия внутри у него, аж, щекотало. Под такое настроение он готов был выкинуть любое коленце.

– Ваша светлость, Яшка гад снова смутянил.

## **Глава вторая**

### **Зеркало Циклопа**

#### **Князя Мытищины. «Мирзавчик». Мечь. Поединок**

1

Князь, направившийся было в угол, где возле печи стояли его с Тухлым нары, остановился. Он мгновенно его понял. Васька просил разрешения на мордобой. А ему не хотелось. Хотя еще недавно он сам искал поножовщины и провоцировал ее. Отлично владея приемами бокса и еще лучше финкой, Ямщицкий в драках был страшен и непобедим. В последнее время он стал избегать драк. Они ему надоели. Он устал от них. Устал от этих хамов, многие из которых были далеко не глупыми людьми. Устал вообще от всего. Поймав себя на мысли об усталости, Ямщицкий усмехнулся. Он вспомнил, как когда-то, давным-давно, своему брату, умолявшему его бросить свои темные делишки и припасть к отчему порогу, многозначительно сказал: «Вернусь домой, когда устану. И ты тоже».

– Ты пьян, Григорий? Я дома, – оторопел брат.

Григорий пожал плечами. Молча осушил рюмку с рубиновой наливкой и, сладко причмокнув, запрокинул голову на спинку кресла.

В этом мире, думал он, никто из смертных – ни он, Григорий, ни князь Дмитрий, ни даже царь – не дома. Это трудно объяснить, но все люди по чьей-то злой, во всяком случае, недоступной для человеческого разумения воле, забыли, откуда они в действительности. И оказались вроде всей одиссеевой команды в плену у Циклопа, давшего им вкусной каши, превратившей их в суетливое стадо овец. И начисто забыли о главном: откуда, зачем и как они здесь оказались. А чтобы придать их бараньему бытию порядок, а с ним вместе, какой-никакой, и смысл, Циклоп положил им на разум придумать Бога, власть с моралью и науку.

А почему человеку так нужен смысл? Почему он видит его в порядке? Должно быть, эта штука – Смысл – некогда был ему доступен и он видел его в Порядке, в котором ему уже доводилось жить. Но Циклопу непостижимым образом удалось впечатать в сознание зеркальность его.

И все же есть Одиссеи. Их считают безумцами потому, что разумным считают то, что навыворот, что как не надо... А это «как не надо» и правит...

Рвутся Одиссеи из циклоповского бедлама домой. И, мучимые стадом, не помнящим родства своего, приспособиваясь к власти имущим и их порядку, просят пожалеть уставшую от сношений девку по имени Мораль. Или сами ее как хотят насилуют... Видят они, черт возьми! Видят, что и наука обречена ходить вокруг да около истины. Не додуматься людям, из-за этой колдовской похлебки, разбить зеркало Циклопа ...

Григорий порывисто поднялся с кресла, в волнении прошелся по комнате и, вернувшись на прежнее место, снова плеснул в рюмку рубинового хмеля.

– Не пьян я, нет, Митя, – сказал он.

– Но ты ведешь себя весьма странно. Я опасюсь...

– Здоров я, брат. Здоров! – перебил резко Григорий и с напряженной серьезностью в голосе спросил: – А в здравом ли рассудке ты сам?

Брат обидчиво по-мальчишески надул губы. Григорий обнял его за плечи.

– Не дуйся. У тебя все в порядке. Все, что окружает тебя, ты принимаешь за настоящую жизнь. А я считаю иначе. То, что вокруг меня – все придумано. И мы тоже. Мы только отражение Хорошего. Верней, мы то, от чего естественно освобождается то доброе и хорошее, которым мы плоть от плоти родные. Мы их второе я. Не нужно им там... А, впрочем, что за вздор я горожу? Такая простая и такая непостижимая механика. Простая, а когда начинаешь ее объяснять – объяснить не можешь... Ну, разве тебе, Митя, не кажется, что мы здесь как в приюте?..

Невидяще глядя перед собой, Григорий умолк. Дмитрию стало жалко старшего брата. «Нервы у него взвинчены донельзя, – подумал он. – С только пережить... Ему надо отдохнуть... А где взять денег? Где? Если даже гимназию на унизительных подачках князя Львова заканчивал. Если и на поесть денег нет... Бедный Гриша».

Он незаметно для себя гладил руку брата. Григорий улыбнулся.

– Я домой хочу, Митя, – с раздирающей душу тоской сказал он.

Чтобы скрыть навернувшиеся слезы, Дмитрий прижался лицом к его плечу.

– Успокойся, Гриша. На, еще выпей... Ты же знаешь наш милый старый дом у суконщика Кулешова.

– Да не о том я, – поморщился Григорий. – Я и в нем тосковал... по дому.

– Как так? – вскинул брови Митя.

– Маман точно так же удивлялась... Как ты сейчас похож на нее!

– Ровно ничего не понимаю. Маман знала о твоих странностях?!

– Она тоже называла это «моими странностями». Ими я ее мучил лет до шести. Ее кровать стояла рядом с моей. Потом она стала твоей. Ночью она подбегала ко мне, хватала на руки и испуганно спрашивала: «Гришенька, милый, ты что плачешь? Ты что не спишь?». Я горько-горько всхлипывал и говорил: «Я домой хочу». «Как так? Ты же дома», – недоумевала она. Вырываясь из ее рук в кроватку, я кричал: «Нет! Это не мой дом. У меня другой дом, я знаю. И ты не моя мама»... Она тоже начинала плакать. Говорила, что мне во сне привиделась какая-то чушь. Крестила меня...

– Но тогда, Гриша, ты малюткой был.

– А ныне я еще больше уверился в том, что всех нас отлучили от родного дома, где мы были счастливы. Мы здесь топчем друг друга, вгрызаемся в глотки. И заметь, находим этому оправданье. Подлость и ум возвели в один ранг. Ведь победителя не судят... Здесь возвеличивают грязных плотью и душой Суллу, Цезаря, воспевают убийцу Бонапарта, восхваляют продажного Талейрана, слагают оды юродивому завоевателю Петру, потаскухе Екатерине... Называют Превосходительством того, чье превосходство лишь в том и заключается, скольким он может безнаказанно плюнуть в душу.

– Ты так о царях не смей, – предостерег Дмитрий.

Но Григория уже никакая сила остановить не могла. Пожаром метались его золотые, с едва заметными красными тенями, волосы. Сумасшедшим светом зажглись два его черных глаза.

– Что царь?! Что?!.. Твои предки, князь Мытищин, поставили его над собой. Порядка ради поставили. А порядка в том порядке не было и нет. И никогда не будет... Твои же предки, однажды пробудившись от пьянства, вдруг возле самодержца увидели простолюдина Меньшикова... А хитрющие мужички Строгановы и Демидовы?.. Как они нас, а?! Никто не почувствовал в их согбенных подобострастных фигурах смертной силушки... Никто не увидел в них родителей нового Порядка. Того самого, что их потомки уже короновали... Появились мануфактурщики, суконщики, заводчики. Появился миллионщик черной кости. Еще никто не знает, что они заказывают музыку. Но уже и царь, и мы, столбовые дворяне, танцуем под нее. Они переняли от нас всю нашу «добродетель». И ею и на ней распялят нас. И тогда состоится инаугурация нового Порядка. Воссядет на троне Его Величество Новый Обман человечеству.

Князь Мытищин-старший неистовствовал. Не замечая того, он тряс за плечи хрупкого, насмерть перепуганного Дмитрия.

– То ли еще будет, – продолжал он. – Идет умный, жадный до жизни, подлее и безжалостней, чем мы, не верящий ни в Бога, ни в черта мужик. Он будет изощренней нас. Ему понадобятся свои идолы... Он сделает из висельников святых мучеников, потому что такие нужны будут ему для своего порядка. Их будут чтить, писать иконы с них... Словом, станут делать из них все, что захотят. Они – победители... Победителей не судят.

Григорий был жуток. На белом, без единой кровинки, лице тарасилась пара погасших углей. В уголках разинутого рта пузырилась пена. Говорить он больше не мог. И отойти тоже. В затылок впиалась тысяча жгучих игл... Пальцы намертво скрючились на плечах Дмитрия... Ноги по самые ступни были набиты ватой. Он едва их чувствовал... Стальной стержень пронзил его по хребту и в струну вытянул все тело... И не стало вдруг ног... Он падал, увлекая за собой Дмитрия...

Они рухнули возле стола.

После падучей Григорий приходил в сознание не сразу. Сначала розовели щеки, потом, набегаемая теплыми волнами, растекающиеся струи крови ласково щекотали, словно целовали каждую клеточку. От этого неземного наслаждения грудь распирало такой радостью, что затанное дыхание вдруг вырывалось наружу и он начинал плавно и глубоко дышать. Он был невесом. Он был крылат. Он парил в поднебесье и чувствовал, как наливаются мощной силой его плечи и руки. Как упруги и могучи ноги... Вот он оттолкнулся от горной вершины. И уже в полете, сверху, на ослепительно белом скосе горы, увидел следы своих ног. Вот коснулся другой вершины...

В эти минуты возвращения к жизни Григорий открывал пустые, еще ничего не видящие, подсиненные стекляшки глаз и снова закрывал их. Он видел лучше, не размыкая век. И видел то, что другим и не снилось. Только слух был не с его видениями. Он был в постылой ему реальности и словно из глухих глубин земных недр, против его воли, до него доносились речи говоривших рядом с ним людей.

– После тюрьмы с ним это будет теперь часто, – услышал он надтреснутый слезой Митин голос.

Потом он кому-то сказал:

– Не тронь его. Только накрой. Ему сейчас плохо.

«С чего он взял? – вяло подумал Григорий. – Мне сейчас так хорошо. Так хорошо...»

Дмитрий снова стал говорить что-то о его мучениях, переживаниях. Но вслушиваться в его болтовню не хотелось. Наконец брат умолк, и тогда другой голос с сочувствием пробухтел:

– Намайлся сердешный.

«А, Андрюха, – узнал Григорий. – Ну их. Потом», – решил про себя он и, оттолкнувшись от сыпучей снежной вершины, загребая руками пух небес, полетел над долиной, усыпанной маками.

Проснулся Григорий часа через два. Вскочил и как ни в чем не бывало, будто не было приступа, прервавшего разговор, продолжил:

– И вот к какому выводу я пришел, Митя. Подлость и ум – вот верный инструмент здешней жизни, вот путь к славе. И к деньгам тоже. Только одержи верх. Все средства, примененные тобой, какими бы гнусными они не были, люди оправдают... Если победишь.

– Будет, будет, Гришенька. Я согласен. Отдохни еще малость, – ласково попросил закончить беседу младший Мытищин.

Григорий рассмеялся. Загребастал к себе брата и по-отечески задушевно зашептал:

– Ты копия маман, Митька. Но чтобы тебе доказать, как я прав, пойдя в моем пальто возьми кое-какие бумаги. Они, я так полагаю, убедят тебя. Но прежде скажи Андрюшке принести хотя бы заваливающей закуски. Я голоден, как последний смерд.

Брат ушел. Сразу стало бессмысленно пусто. Григорий подошел к единственному в этой светелке оконцу. За ним серым, мокрым, от светлых слез, воробышком нахохлился осенний день.

«Как мерзко на этой земле, – подумал он. – И как она, жизнь наша, эта чертова циклопова каша, вкусна! Залез рылом – не вытянешь».

Оттолкнувшись от окна, он нервно закружил по комнатенке, казавшейся ему сейчас тесней, чем тюремная камера. После приступов эпилепсии Мытищин всегда чувствовал в себе мощный прилив сил. Мир казался ему тесным. Мысль работала четко, ясно. Руки, ноги, плечи, каждый нерв требовали энергичных действий. Ничто не могло удержать его на одном месте. В эти минуты им управлял доселе где-то дремавший в нем непоседливый бес. Он рождал мысль, облекал ее в слово, подсказывал решение и, мгновенно все рассчитав, руками Мытищина осуществлял его быстро, точно, безошибочно. Григорий в это время, а оно продолжалось дня три-четыре, чувствовал себя вдохновенной машиной, вырабатывающей мысль-слово-дело. В вихре им же поднятых событий, наблюдая за собой, Григорий удивлялся: «Неужели это я?»

Припадки с ним случались не часто. Он их боялся и все же с нетерпением ждал. Григорий блаженствовал полетом и той энергией мыслей и силы, которая в нем после них пробуждалась. И если бы ему сказали, что от этого недуга можно избавиться, он наотрез отказался бы.

Григорий с нетерпением посмотрел на двери.

– Дмитрий, ну где ты? – крикнул он брата.

Не дождавшись ответа, выбежал в сени и чуть не сбил с ног застывшего в столбняке Дмитрия.

– Обалдел?!

– Неужели?... Неужели дом снова наш? – показывая на бумаги, спрашивал он.

– Наш, наш, – о чем-то сосредоточенно думая и спокойно, словно речь шла о какой-то безделице, сказал Мытищин-старший.

Потом без всякой связи попросил снова поесть. И тут же, забыв о своем желании, схватил Дмитрия за руку.

– Деньги взял?

Брат округлил глаза. Григорий понимающе махнул рукой.

– В другом кармане двадцать тысяч рублей. Возьми их и мигом, немедля к князю Львову. Закупай у него весь будущий урожай льна. Весь! На корню весь!

Мытищин-старший не видел смятенного лица Дмитрия. Он на него даже не смотрел. Он развивал свои мысли резко, коротко, ясно.

– Ты теперь компаньон мануфактурщика Кулешова. Объяснения потом. Всех денег Львову не давай. Десять тысяч предел. Остальные после урожая. Князю позарез нужны деньги. В таких случаях главное не сколько их, а насколько они вовремя.

Григорий крикнул Андрея. Дмитрий сказал, что он побежал в лавку за съестным.

– Жаль! Но ничего, садись сам в бричку и гони во весь дух. Князь – волк... Не дай обойти себя. И чтобы сделка была учинена документально, – жестко проговорил он.

– И еще, – спохватился Григорий, – деньги прислала тетка княгиня Ржевская. Прислала якобы для моей выручки из тюрьмы. Львов еще не знает, что я на воле. А ты не хочешь такие деньги тратить на непутевого брата...

– Типун тебе на язык...

– Говорить только так, – перебил он. – Только так! Ясно?! Князь – мерзавец. Он только в это и поверит.

– И у тетки Натали ни гроша за душой, кто этого не знает.

Григорий поморщился.

– Не мешкай, братец. Гони к Львовым. Я тебя жду с выгодной сделкой. Ну, где пропал Андрей!?

Уже одетым, у двери, Дмитрий робко спросил:

– Гриша, откуда все это?

– Я же объяснял тебе. Сила, нож и голова... Не бойся, все как нельзя чисто. Спешу, спеши.

Он вытолкал брата за двери, прошелся пару раз по комнате и снова подошел к окну. К крыльцу, нагруженный свертками со снедью, подходил Андрей.

– Наконец-то! Где тебя носило?.. Умираю жрать хочу.

– Я же в одночасье.

– Давай к столу. За матушку-волю выпьем.

– Что, без Мити?

– К Львовым послал.

– Ты опять с гадюкой подколенной собираешься якшаться?

– Не совсем, но надо. Надо, Андрюша! Мы еще его тряхнем.

Григорий наполнил до краев рюмки и, перегнувшись через стол, поцеловал Андрея.

– За тебя, братец. И до дна, – сердечно воскликнул он.

– Да будет тебе, Григорий, – алым огнем засветился юноша.

Такое обращение князя Мытищина-старшего ему всегда было приятно.

Его, Андрея Варжецова, сына покойной горничной Мытициных, уродившегося по необузданному сладострастию пропойцы и картежника князя Юрия Васильевича, тоже усопшего, судьба не баловала. Имя отца скрывалось, хотя в усадьбе оно и свинье было известно. Княгиня горничную ненавидела и велела отослать ее вместе с приплодом подальше от глаз. Но далеко убрать их не могли. От прежнего раздольного поместья у Мытициных осталась лишь одна деревенька Вышинки, находившаяся в верстах пяти от барского дома, сработанного еще в прошлом веке заграничными мастерами. Он единственное, что осталось от несметных богатств Мытициных. Остальное князь Юрий Васильевич просадил столичным картежникам и прокутил в кабаках.

Мать Андрюшеньки в одну из зимних ночей замерзла в поле. В ту пору ему шел третий год. А спустя месяцев шесть его к себе забрал дядя Ян Варжецов, мамин брат, вернувшийся из отсидки в тюрьме за душегубство. Жил он с ним где-то около трех лет. И однажды, в разгар крещенских морозов, поздно ночью к их избе подкатила хозяйская бричка. Из нее выпрыгнуло двое мужиков и напрямик к Варжецову. Давай, мол, мальчика, князь представляется.

Ян матерно выругался и ни в какую не хотел отдавать племянника.

– Уважь, Януарий Стяпаныч, – просил один из них. – Знамо дело, никудышным был, – тут же осекся, – тьфу, прости меня, Господи, может и не околеет.

Варжецов, ничего не говоря, сел к ним спиной. Двое пришедших нерешительно, по-медвежьи переминались у порога.

– Как поросья недорезанная кричит, Януарий Стяпаныч, – переглянувшись с товарищем, опять заговорил тот же мужик. – Андрюшу, грит, приведите ко мне перед кончиной. Виноват, дескать, перед ним и перед матерью его. Насилу догадались, что твоево племяшу Андрюшу зовет к себе.

Варжецов сцедил из недовольно фырчавшего самовара в чашку с сухим чаем крутого кипятка и продолжал молчать, всем видом своим показывая, что разговора не будет.

– Уважь, Ян. Все ж таки последняя просьба, – пробасил другой мужик, который когда-то в девичестве его сестры женихался с ней.

Ян снова выматерился.

– Пусть его светлость подохнет со своей совестью.

– Не богохульствуй, Януарий Стяпаныч. Всем придется ответ держать перед судом божьим. Зело грешным особливо. Каждое доброе дело засчитается.

Варжецов сделал вид, что намека не понял. «За уважительность прощаю», – решил он про себя.

Бывшему кандальному мужичку нравилось обращение по имени-отчеству. Стало быть, чувствуют силу, уважают. Теперь в Вышинке его с ядовитой подначкой, как бывало в отрочестве, «Январьком-ублюдком» не кличут. Издевались, потому что его с сестрой мать прижила от немца, с которым не была венчана до его отъезда в «фатерлянд»<sup>19</sup>. Обещал за ними приехать. До сих пор едет. Мать до конца не верила, что он их обманул. «Он хороший человек. Не мог он так поступить с нами», – уверенно говорила она детям.

Когда отец уезжал, Яну шел пятый годик. Лица его он не помнил. В памяти осталась только его, похожая на ягодку, родинка на щеке. Он все время теребил ее. И еще помнил, что отец был очень большим. Это, вероятно, ему казалось по малолетству. Сестренке, матери Андрюшки, не было и годика. Отец души в ней не чаял. Любил ее по-сумасшедшему. Нянчил. И засыпал, положив ее себе на грудь. Если хворала, не отходил от ее кровати и ругал жену за то, что она не уследила и застудила ребенка.

«Я удивлялась, – говорила мать. – Ведь он не хотел девочку. Когда она дрыгалась у меня в животе, он прикладывал ухо к нему и говорил: “Mein Cot! Mein Cot, danke schon! Еще одного мужчину ты даришь мне!”... Когда же ему повитуха сообщила о народившейся девочке, он огорчился. А потом ругал себя за это... Как, мол, он мог не хотеть такой жемчужинки?.. Я спросила тогда, как назовем ее, а он взял тебя на руки и сказал: «Наш рыцарь Ян родился в январе, а она в жгучем июле. Пусть будет Юлей»...

Нет, отец их бросить не мог. С ним что-то случилось по дороге... Мать обивала пороги губернской строительной фирмы, где отец работал по контракту, а там от нее отмахивались. Там отмахивались, а в родной Вышинке, куда она вернулась с детьми из губернского города, злословили. Ее называли немецкой подстилкой, а Яна с Юлией – ублюдками. Сверстники, глядя на взрослых, дразнили Андрея «Январек-ублюдок», а сестру «Июлька-ублюдка»... Теперь никто этого делать не смеет. Ян хорошо усвоил: кулак убедительней слова. Не ум, а хам правит миром. Ум без грубой силы – ничто. Ум педераст хама. И ведет себя как педераст. Лебезит, восхваляет и оправдывает хама. И руководствуясь этим принципом, Ян, по возвращении из мест не столь отдаленных, всех ворюг и убийц, живущих окрест, прибрал к руке. Рука оказалась матерой. Вынудила именитых купцов искать ее покровительства, приносить Варжецову долю.

---

<sup>19</sup> «Фатерлянд» – от Faterland (нем.)

До денег Ян был не жаден. Обращался с ними по-умному. Так что сам губернский полицеймейстер не гнушался здороваться за матерую длань. Как тут не зауважать?!

– Совесть не булат, а душу режет, – задумчиво произнес он и тряхнул головой. – Так и быть! Коль и ты зла не держишь на этого бестию, – сказал он тому, кто называл его по имени и некогда женился с сестрой, – собирайся, племяш!

Князя Юрия Васильевича подорвали оргии. На последней, в самый разгар пляски, его хватил удар. Привезли его почти бездыханным. После того как врач пустил ему кровь, он пришел в себя, и тут же позвал жену.

– Кончаюсь я, Машенька, – вырвалось бульканьем из его горла, а немного отдышавшись, уже твердым голосом попросил: – Поставь сюда ногу, – и показал рядом с собой на постель.

Марья Григорьевна побаивалась бешеного нрава мужа и никогда не перечила ему. А сейчас он был страшен как никогда. Подступающая смерть обезобразила и перекосила его лицо. Женщина осторожно поставила ногу. Юрий Васильевич действующей рукой обнял ее и, оттолкнувшись из последних сил от подушек, припал к самой ступне и одеревенелыми губами иступленно стал целовать ее.

– Юрий Васильевич... Князь... Юрий, – Мария Григорьевна теряла равновесие.

Уцепившись за тяжело сползавшие с кровати плечи мужа, она звала на помощь. Подбежавшие врач и пьяный приказчик Мытищиных Кулешов, доставивший хозяина с пирушки, где был вместе с ним, поддержали падающую женщину и снова уложили умирающего на подушки.

– Маша, – ясно проговорил Юрий Васильевич, – мне нет прощенья. И не прощай меня, если тебе хоть немного от этого будет легче. Смерть моя – мое избавление от самого себя. Для вас тоже избавление... Что я хотел – не знаю. Жизнь опостылела мне, наверное, с самого рождения. Будто я ее, эту отраву, знал когда-то... Порченным я был. И тебе отравил и испортил жизнь... Нет мне прощенья.

Тускнеющий взгляд князя остановился на жене. Та странно поводила плечами и не то в ухмылке, не то готовым сорваться воплем кривила губы. Тело в висевшем на ней платье казалось еще более худым и ерзало под ним, словно материя саднила кожу. Плоские, остекленевшие глаза ее никуда не смотрели и ничего не выражали. «Ей все равно, – подумал князь. – Напрасно изливаюсь».

После тяжелых родов Митей Мария Григорьевна помутилась рассудком. Стала тихой, молчаливой, чему-то своему смеялась или плакала. Наступали иногда периоды, когда она как бы приходила в себя. Но они были редки, совсем не продолжительны и имели свою необъяснимую странность. Было в ее помешательстве одно удивительное свойство. Ни на что не реагируя, пропуская мимо ушей слова окружавших ее людей, она в дни просветления вспоминала и запоздало отвечала на них. Нервничала, если ее не понимали, полагая, очевидно, что ее разыгрывают. Устраивала истерику и опять впадала в затяжное затмение.

Однажды, когда ей полегчало, она появилась в столовой, где Юрий Васильевич обедал с сыновьями. Нарядная, причесанная и в веселом расположении духа, Мария Григорьевна, явно удивленная, остановилась в дверях.

– Разве я не вовремя? – с плохо скрытой укоризной по-французски спросила она мужа.

– Вы всегда вовремя, сударыня. Мы проголодались и нас подвели часы, – князь галантно, красуясь своим французским выговором перед женой и детьми, встал ей навстречу.

Она мягко отвела его протянутую руку и подошла к Мите, которого кормила няня.

– Ступай, милая. Я сама, – распорядилась Мария Григорьевна. Потом ласково посмотрела на Гришу: – Как спалось, Гришенька? Рана не мучила?

– Спал отменно, маман. А раны никакой у меня нет, – тщательно подбирая французские слова, отвечал он, переводя непонимающие глазенки с отца на мать.

– Ну как же? Ты же вчера об сучок на дереве грудь порезал. От твоего рева домашние чуть не рехнулись, – улыбнулась она.

– Вы, маман, ошибаетесь. Тому прошло три месяца.

– Шутник! – рассмеялась Мария Григорьевна и повернулась к мужу. – Князь, а что это за вульгарная особа гостила у нас недавно? – спросила она по-немецки.

Юрий Васильевич поперхнулся.

– У вас, насколько мне известно, таких кузин нет, – продолжала Мария Григорьевна.

Он наконец проглотил застрявший в горле сырник.

– Вам дурно спалось, наверное. Приснилась какая-то ерунда.

Мария Григорьевна покраснела.

– Не говорите по-русски! Здесь дети, – с негодованием оборвала она. – Нечего меня уличать в чрезмерной экзальтированности. Та особа с родинкой на щеке мне довольно пошло заметила, что забирает моего князя Юрия в Петербург. Я уж не думала вас сегодня застать.

Мытищин кашлянул. Ну конечно такое было. Он приводил сюда заезжую актрису. Привел поздно ночью, когда все спали. А рано утром, перед уходом, в гостиной они столкнулись с отрешенно бродившей там Марией Григорьевной. Княгиня никак не отреагировала на них. Хмельная гостья пыталась с ней заговорить. И, кажется, нечто подобное лягнула... Юрий Васильевич тогда все же увязался за ней в Петербург. И славно провел время.

– Но это было не вчера, дорогая. С тех пор минул месяц.

– Прекрати! – сорвалась она на русский. – Что вы из меня сумасшедшую делаете?

Из столовой она вышла впавшей в свое прежнее странное и тихое безумие.

Впредь, зная эту довольно-таки редкую особенность психически больной жены, Мытищин вел себя осторожно. И сейчас, умирая, он надеялся, что в своем просветлении жена вспомнит все, что он скажет. И ему хотелось сказать ей такое, чтобы она поняла, как он раскаивается, как понимает, что был подлецом по отношению к ней, к семье и как противен он самому себе.

В паническом хаосе чувств, обрушивающихся на человека в предсмертьи, Мытищин всем существом своим вдруг понял, что эту, подурневшую, по-жуткому дергавшуюся женщину, он любит больше чем когда-либо. Что никого никогда так не любил. И сейчас, в последние минуты бытия своего, он единственный и последний раз в жизни думал не о себе и переживал не за себя. От подступившей к сердцу боли, от слез, проступивших на ресницах, князь стал задыхаться.

– Юрий Васильевич, нельзя вам так, – щупая пульс, успокаивал врач.

– Может, батюшку позвать? – спросил Кулешов.

– К черту священника! – яростно выдохнул Мытищин. – Во мне сидел божий рок, а не поповское заклятье... Ведь понимал же я, что живу не так. А совладать собой не мог. Бес крутил мною как хотел. Где был тогда батюшка?.. И кто у меня, у ней и у вас – батюшка? – бросил он горящий взгляд на обступивших его. – Кто?!. Вы тоже себе не принадлежите. Тобой, Ерошка... – Кулешов икнул и перекрестился. – Тобой, Ерошка, правит мерзкая, подленькая сатана... Доктором, – Юрий Васильевич посмотрел на врача, может и душевный, но-таки Лукавый... А ею – бес! Бес, приносящий несчастье!.. Вот вся нехитрая гармония бытия человеческого, – говорил он раздумчиво, внятно, пока не стал снова ртом ловить воздух и просить открыть окно.

Отдышавшись, он с минуту смотрел на жену и с нежностью, на какую был способен, сказал:

– Машенька, ты мой священник. И я тебе говорю: нет мне прощенья. Нет! Я оставил вас нищими...

Дыханье опять осеклось. Грудь разрывала жгучая боль.

– Где дети?.. Детей сюда... И Андрюшку! Немедленно Андрюшку... Прости меня, Маша... Ерошка, за Андрюшей! Мигом! Ну!..

2.

Та ночь Андрею Варжецову запомнилась на всю жизнь. В большой, богато обставленной спальне стояли два зарезанных холеных барчука. Один – его ровесник, другой лет на пять постарше. Посреди комнаты пританцовывала лохматая, но красивая барыня. Над постелью, с закатанными по локоть рукавами, со шприцом в руках наклонился человек. Кулешов ему глазами показал на Андрея, и тот негромко сказал умирающему, что мальчик пришел.

Юрий Васильевич никак не отреагировал. Он лежал в забытьи. Копна спутанных светлых волос налипла на восковом лбу, где едва подрагивали вороньими крыльями густые брови. Нос, с шумом всасывая воздух, вытягивался и казался еще прямой и острее. Русая, аккуратно подстриженная бородка, как у всякого решительного и сильного нравом человека, вызывающе выдвинулась вперед и от напряжения трепетала.

Ерофей приблизился к кровати.

– Князь, князь, – настойчивым шепотом позвал он.

– Что тебе?

– Андрей пришли.

Крылья взметнулись, засветив два горящих угля.

– Где? Где он?.. Подойди ко мне, сынок. Дай поцелую напоследок.

Он прижал мальчика к себе. Снял с него собачий малахай. Длинные, холодные пальцы нервно пробежали по лицу мальчугана и стали ворошить волосенки.

– Тебя отец так редко целовал... Не поминай меня лихом... Не поминай... Хорошо, Андрюша?

Мальчик кивнул головой и вдруг тонко взвыл:

– Тятенька, не умирай... Тятенька...

– Ну-ну, – дрогнувшим голосом остановил он мальчика. – Гриша, Митя, подойдите... Это ваш брат. Подайте друг другу руки. Ну, все разом положите мне на ладонь... Вот так. Живите дружно. Запомни, Андрей: Гриша старший. Слушай его во всем... А ты, князь Григорий Юрьевич, – Мытищин крепко сжал в ладони детские руки, – блюда за братьями... Андрея не отпускай, пусть живет с вами... Такова моя последняя воля, князь.

Он привлек к себе Григория и поцеловал.

– И еще, Гриша. В тебе такой же бес сидит, что и во мне. Не дай ему взнудать... – Юрий Васильевич, грозя кому-то невидимому, высоко вскинул сжатую в кулак руку.

Договорить он не успел. В грудь больно-пребольно, как в камень, ударило тупым раскаленным железом. Он раскрыл рот, чтобы вздохнуть или крикнуть... Поднятая рука его тяжело упала на матрац и, отскочив от него, раскачиваясь, повисла над полом. На жгуче-черные глаза медленно наплывала холодная эмаль...

В один из дней своего просветления, повторявшиеся теперь очень редко, Мария Григорьевна, присутствуя за обеденным столом, восприняла Андрея довольно спокойно. А мальчик напротив. На то у него были основания. Однажды глубокой ночью после похорон князя, в отведенную Андрею спальню вошла Мария Григорьевна. Намаявшись за день в играх с братьями, мальчик крепко спал. Впечатления доселе незнакомой и интересной жизни, нахлынувшие на него в доме Мытищиных, приходили ему во сне сказочными картинками. Он видел хорошие сны. То являлась мать, одетая в платье из цветочных лепестков, и начинала кружить его по комнате, радостно хохоча. То вдруг она исчезала и появлялся на белом коне, в сверкающих доспехах тятенька. Люди, обступившие светлейшего князя, отталкивали Андрея, шикали на

него. Но вот тятенька заметил его: «Это мой сын, Андрей». И его под руки подводили к нему. Потом все пропадало...

Всегда снилось что-нибудь хорошее. А тут он во сне почувствовал ужасный страх. Сначала в лицо ему ударил свет, а потом по нему нервно пробежали длинные холодные пальцы. Мальчику это ощущение показалось знакомым. Так перед смертью гладил его тятенька. Не открывая глаз, он осенил себя крестом. Но свет не гас и чьи-то застуженные пальцы продолжали шебаршиться на груди, поверх сорочки. Андрей открыл глаза. Над ним со свечой в руках стояла взъерошенная, вся в белом, сумасшедшая барыня. Она не мигая смотрела на него. Андрей, взвизгнув, отскочил к краю кровати и, весь дрожа, стал вопить, чтобы она его не убивала и чтобы домочадцы спасли его.

После той ночи Григорий приказал перенести кровать Андрея к нему в спальню. Княгиня сюда заходила чаще, но так страшно уже не было. Гриша, зная причуды матери, всегда просыпался и ласково разговаривал с ней. Показывая на Андрея, просил полюбить его. Она беззвучно смеялась. И удалялась, не проронив ни единого слова.

Когда Мария Григорьевна вошла в столовую, где завтракали мальчики, Андрей окаменел от страха. Григорий даже не повел бровью. Легко соскочив со стула, на котором раньше сидел отец, он пошел ей навстречу.

– Бонжур, маман, – ласково приветствовал он и, отодвинув ее стул, пригласил сесть.

– Как вы милы, князь, – благодарно улыбнулась она.

Гриша поцеловал ей руку и снова сел на отцовское место. Дима, взяв свою тарелку, подсел к матери. Андрей, от сковавшего его страха при появлении княгини, уже есть не мог. Серебряная ложечка стала просто неподъемной. Она сорвалась и со звоном покатила по паркету. Андрей вспыхнул. Он хотел было встать, чтобы поднять ее, но строгий взгляд Григория остановил его. Мальчик разволновался еще больше. Нос его вдруг набряк жидкостью. Он почувствовал, как она течет на губу. Не в силах поднять руку, чтобы вытереть соплю, он несколько раз шмыгнул носом и закашлялся.

– Позови, милая, Ерофея, – попросила княгиня кормилицу.

Небрежно одетый, пошатываясь от неулетучившегося еще хмеля, Кулешов навалился на косяк и мутно уставился на княгиню.

– Ерофей, – сказала она, – мальчику, – и кивнула на Андрея, – подыщите учителя.

Потом, повернувшись к старшему сыну, уже по-французски добавила:

– В нем, дорогой, так много дурных привычек. Не так ли?

– Вы правы, маман.

Мать обворожительно улыбнулась.

– Подыщите... – не меняя хамской позы, передразнил Кулешов. – А на какие деньги с изволите-сь? Этого, – ткнул он пальцем на Андрея, – он в наследство оставил. А этого, – приказчик хлопнул по карману, – нет...

– Как вы смеете, Ерофей?! – вспыхнула княгиня и принялась горячо и сбивчиво нести околесицу.

– Смею-с, смею-с, – издевательски ухмылялся Кулешов.

– Успокойтесь, маман, – побелев лицом, попросил Григорий. – А ты, Ерошка, ступай выполнять приказание барыни.

– Как же-с?! Побег уже.

– Тогда вон! Ты у нас не служишь больше.

– Кишка тонка, князек, – зло сверкнул глазами приказчик.

Однако многолетнее раболепие взяло верх над взыгравшим в лакее хамством. Кулешов задом, словно боясь, что в него чем-нибудь запустят, ретировался из столовой. А спустя несколько минут бешено разогнавшаяся двуколка выкатила его со двора.

К вечеру того же дня у ворот Мытициных остановилась пролетка князя Николая Михайловича Львова. Мальчики увидели его из окна. Глядя на вываливающегося из дверей коляски «друга» семьи, Григорий задумчиво произнес:

– Папенька называл его болотной душой или жабой. А он каждого видел насквозь... Приехал хлопотать за Ерошку, – Григорий оживился.

– Андрей, беги ему навстречу.

Мальчик сорвался с места.

– Стой. Выйди к нему спокойно, не запыхавшимся. Раздеваться не помогай. Проводи его в гостиную, усади в кресло и сам садись. Болтай о чем хочешь.

Сам Гриша бросился к себе в комнату переодеваться. Попавшейся на пути тетке Фекле, прислуживавшей им, приказал:

– Орехов, изюму, конфет, бутылку коньяка из папенькиного запаса и одну рюмку... Приготовь и жди меня у дверей гостиной.

Между тем Андрей проводил Николая Михайловича в гостиную. На приглашение мальчика сесть князь никак не отреагировал. Заложив руки за спину, он прохаживался по ковру, сосредоточенно рассматривая его рисунок. Прошло минут десять. Львов начал нервничать.

– Где твой хозяин?

Андрей, расставив ножонки и тоже закинув руки за спину, звонко ответил:

– Брат одевается. Он сказал, что князя Николая Михайловича нельзя встречать в неглиже.

Львов довольно уркнул и посмотрел на мальчика.

– Так, стало быть, это ты Вражцов? – надавив на исковерканную фамилию, спросил он.

– Мытицин я. Андрей Юрьевич, – все так же звонко, как учил его Григорий, ответил он.

Огорошенный ответом, князь картинно упал в кресло, оказавшееся и для его дородности достаточно глубоким.

– Ну-ну! – проквакал он оттуда.

Теперь и Андрею, поспешно севшему на софу, он показался похожим на жабу. С той стороны, где примостился мальчик, торчала только голова князя, вернее настоящая лягушачья голова. Пучеглазое, сплющенное, почти без подбородка и шеи лицо. Под большим, растянутым до ушей ртом трепыхалась лягушачьим брюшком сизая, плоская глотка.

«Уставится на меня сейчас пучеглазками и как козьявку слизнет», – подумал мальчик, отодвигаясь подальше от кресла.

Пучеглазки повернулись к двери. Оттуда с подносом в руках степенно шествовала тетка Фекла. Поклонившись гостю, она поставила поднос перед ним:

– Откушайте на здоровычко, барин... Князь Григорий Юрьевич сейчас будут.

Тетка Фекла удалилась. Львов впился глазами в коньяк. Жабья голова довольно уркнула. Нацедив им рюмку, князь медленно, смакуя предстоящее удовольствие, поднял ее. Но испытать его не удалось. Григорий, очевидно, ждал этого момента. Сияя как новенький золотой, он влетел в гостиную, словно на крыльях радости.

– Здравствуйте, благодетель наш! Как здоровье? Как поживает Наталья Игнатьевна? Что делает Мишель? – задыхаясь от распирающих грудь чувств и протягивая сердечно руки Львову, по-французски шпарил Григорий.

– Здравствуй, князь Григорий Юрьевич, – не выпуская рюмку, тяжело поднимался с места Львов. – У нас, слава Богу. Поклон вам от наших привез и огромную обиду – не заглядываете к нам, – поддавшись натиску Григория, скороговоркой, мешая французскую и русскую речь, отвечал Николай Михайлович.

Ни в голосе его, ни в том, как он держался с этим шестнадцатилетним мальчишкой не было ни иронии, ни покровительственного тона какие невольно проскальзывают в беседе взрослого с подростком. Это у Николая Михайловича выходило помимо его воли. Более того,

он вдруг заметил, что под взглядом мытищинского недоросля ему совсем не по себе. Ни не уютно – нет. Не то слово. Разве тесно и тревожно. Это поближе к истине. Николай Михайлович чувствовал себя матерой щукой, засунутой в ведро – не пошевелиться, не вздохнуть свободно. Хотя зала просторная и платье английского покроя шито как нельзя лучше. Он мучительно искал объяснений своей внутренней тревоге. Его, конечно же, волновала мысль о том, что стоявшему перед ним мальчишке стало вдруг известно, что и этот дом, и последняя деревушка Мытициных в скором времени отойдут в его владения. Оставалась одна существенная формальность, которая требовала немного времени, и Мытицины – в трубу, по миру. Отпрыски мытищинского рода, пакостившие не одно поколение князьям Львовым, оденутся в нищенские рубища, станут прихлебателями в его доме.

Николай Михайлович приосанился. Такой зигзаг мыслей отвлек его от реальной обстановки. Взглянув на вытянутую руку, по пальцам которой растекался выплескивающийся из рюмки коньяк, он вспомнил, что так и не нашел объяснения противной дрожи под ложечкой. Ведь не робеет же он перед этим мальчишкой. И чтобы убедить себя в этом, не переключившись на рюмку, он поднес ее к губам.

– Князь, вы приехали просить за Ерошку? – хлестнул голос Григория.

Рука с рюмкой отпрянула от губ, расплескав на ковер почти весь напиток, и снова застыла в прежней позе. Николая Михайловича сверлило два докрасна накаленных уголька Гришиных глаз. Он сглотнул слюну, собираясь с мыслями и, наверное, в этот момент понял почему ему тесно в просторном зале и в ладно сшитом костюме. Недоросль Гришка был ему страшен. По-настоящему страшен. От него исходила силища, пахнувшая погостом и, имевшая вкус поминальной кутьи... «Душегубец... Ей-ей душегубец», – простонал про себя Львов.

Уловив потерянность гостя, Григорий незаметно перешел на тональность с какою, обычно, говорят обиженные и просящие помощь люди.

– За холопа, с которого мало шкуру содрать?.. Неужели, Николай Михайлович?

– Не горячись, Григорий, – взял себя в руки Львов. – Не горячись. Ерошка – хам, согласен. Но вам он еще нужен.

– Нужен?! А что Нужен – это выше Чести?

«Еще как! Нужда выше чести. На своей шкуре почувствуешь, шенок», – подумал Львов, а вслух сказал:

– Нет. Разумеется, нет, Григорий Юрьевич.

С этими словами он, наконец, опрокинул в рот остаток коньяка и красноречивым жестом подвинул рюмку поближе к бутылке. Андрей было потянулся к ней, но, ожегшись о резкий взгляд брата, взял из вазы орехов с изюмом и пошел к окну.

– Редкий букет, – похваливая коньяк, наполнял свою рюмку Николай Михайлович, а сам про себя отводил душу на братьях. «Шельмец подзаборный! Сучок нагульный... А это-то! Казнокрадово семя! Фанфаронитесь. Ишь ты! Дай срок, заставлю портки свои чистить. Помусьюкаешь мне».

– Отменный напиток, – продолжал Львов, нюхая напиток.

– Папенькины запасы, – сказал Григорий. – Он любил все, что было чистых кровей.

«Не то что ты, жаба вонючая».

– Тонкой души человек был.

«Чистоплюй твой папенька. Вор и пьяница по крови».

– Царство ему небесное, – осенился крестом Львов.

Григорий порывисто обнял князя.

– Николай Михайлович, вы у нас теперь один. Молимся мы с братьями за здоровье ваше денно и ночью, – на Гришины глаза навернулись слезы.

«Фу, бяка тинная. Отрыжка собачья. Околей. Околей на глазах наших»

Николай Михайлович удивленно выпучился на юношу.

«Кажись не притворяется», – удовлетворенно подумал Львов.

Никаким душегубцем Гришка ему теперь не представлялся. Он для него сейчас был обыкновенным недорослем. Жалким, беспомощным.

– Успокойся, Григорий Юрьевич. Ну, князь?! – увещевающе говорил он, утирая платком глаза юноши. – Вот так. Вот так.

– Только перед вами могу показать свою слабость.

«О Боже, убери с лица моего лягушачьи пальцы».

– Простите, – вслух говорит Григорий и, освободившись от ладони, гладившей его голову, прошел, огибая стол, к графину с морсом. И уже оттуда, твердым голосом, принялся рубить: – Ерошка – вор. Мерзавец. Я его не пушу на порог. Если даже он перед ним ляжет вместо половика.

Львов не перебивал распалившегося юношу. «Пусть покуражится. Ерошке каналье урок будет».

Он не сомневался, что уговорит Григория если не простить, то на некоторое время смирится с управляющим. Ему этот мир был нужен от силы на два года. Пока он Григория не отошлет в Москву, в университет. За это время Ерошка выправит все документы по хозяйскому дому Мытищинных на его имя. За такую услугу Николай Михайлович обещал управляющему Вышинку. От предвкушения заветного куша, он ласково обнял яростно настроенного юношу и, дождавшись паузы, сказал:

– Дружок, я ничего не имею против. Его следует проучить... Но что от холопа возьмешь? Опуститься до него – не к лицу тебе, князь... Ерошку, конечно, необходимо прогнать. Но, подумай, кого ты вместо него наймешь? Кто лучше канальи знает хозяйство ваше? Причем хозяйство изрядно пошатнувшееся. А у него хватка – будь здоров.

– Я сам им стану управлять, – решительно заявил юноша.

– Рассмешил! Ей-ей, рассмешил на старости дядю Николая. Тебе вскорости надо будет запрягать лошадей на Москву-матушку. В университет. Кто же будет готовиться? А управляющего подыщем. Деловых найти не просто. Помнишь, в моей усадьбе хозяйничал немчура? Я на него нарадоваться не мог. Большой эконоом. Его у меня переманили.

С тем немцем Григорий был знаком. И знал, что его никто не переманивал. Он бежал от Львовых. Николай Михайлович подолгу не платил ему жалованья. И «большому эконоому» не на что было одевать, кормить и обучать своих «медхен» и «кнабен». Но он все-таки был хорошим управляющим, потому что покойный папенька всегда выговаривал Ерошке и ставил в пример немца.

Львов смотрел на упрямо молчавшего юношу. Потом привлек его к себе и, заглядывая в глаза, пустил в ход последние к озыри.

– Вы все трое будете жить у нас. Учителя моего Мишеля станут заниматься с Юрой и Андреем. Так будет дешевле. Найдем тебе лучших репетиторов... Кстати, Мирзавчик тебе поклон посылает. Говорит, что если бы он еще немного тебя поупражнял, ты стал бы владеть кинжалом лучше всякого кавказца. Говорит, что в поножовщине приемы гораздо хитрей, чем в кулачках на английский манер... Однако, у вас с ним довольно ловко получался мордобой.

Упоминание о Мирзавчике заметно изменило настроение юноши. Он широко и искренне улыбнулся. Почувствовав в собеседнике многообещающий надлом, Львов не преминул им воспользоваться.

– Послушай, Гриша, – залился смехом Львов. – Ты послушай... Что-то мне понадобилось от него и я обращаюсь к нему: «Мирзавчик, голубчик»... Он вскинулся на меня, глаза огонь мечут, кажется даже за кинжал схватился... «Меня, – говорит, – «Мирзавчик» можно звать. Но нужно – Мирза-бек... Только князю Григорию разрешаю. И то без людей. Он так сказал Мирзавчик, как... – он подыскивал слова, – как ребенок скажет папа. От белой души»... Так и сказал нехристь чеченская. Надо же!

Что-то горячее хлынуло к сердцу юноши и запершило в гортани. Он поспешно отошел к окну.

Мирза бек не имел детей. Но как всякий кавказец любил их. Неудачно сложилась его жизнь, хотя он ею был доволен – «много приключений бывал, много чужой страны смотрел, много бабов любил»...

Все его приключения и путешествия начались с Петербурга, куда он молодой и богатый приехал обучаться военному ремеслу. После пышных салонов, где был принят, и разгульных балов, учиться расхотел. Пристрастился к картам. И уже через несколько лет без единого гроша в кармане, без всего, что он имел у себя в Чечне, потому что поставил все на несчастливую карту и на роковых женщин, стал «джентльменом удачи». После одного из дел, когда ему грозила каторга, неожиданно объявился благодетель – известный петербургский вельможа. Мирза бек его совсем не знал, а тот, напротив, был о нем весьма хорошо информирован.

Вельможе он понадобился как телохранитель или адъютант повесы-сына, которого он отправлял за границу. Так Мирза бек со своим подопечным исколесил всю Европу – Вена, Берлин, Рим, Париж и, наконец, Лондон. В Лондоне они прожили шесть лет. Повесе, оказавшимся весьма буйным молодым человеком, возвращаться в Россию не хотелось. Мирза бек тосковал. Скуки ради обучился английскому боксу. Тем более ему часто приходилось в защиту барина пускать в ход кулаки...

По возвращению в Россию вельможа избавился от Мирзы, порекомендовав его своему другу. И стал он кочевать из одной семьи в другую. «Из их мальчиков – говорил он, – я делал мужчин». Так года три назад он оказался у Львова. И его, Григория, и сына князя Львова, Михаила, стал обучать знаменитому английскому боксу

Мысль возвратиться домой, на Кавказ, никогда Мирзу бека не покидала. Вернуться же нищим он не мог. Не позволяла гордость. Деньги в нужном количестве не собирались. Да и жалованья ему назначали небольшие.

Григорию было жалко этого мужественного и, по сути, беспомощного перед судьбой человека. От обиды за него юноше хотелось сейчас повернуться к этому прохвосту дяде Николя и наговорить гадостей. Он так бы и сделал, но блуждавшие по двору его глаза вдруг выхватили Кулешова и возникшая в нем глухая злоба на Львова всей своей страшной яростью перекинулась на управляющего... Ерофей сидел на подножке двуколки и кнутовищем сосредоточенно соскабливал с подошвы лакированных сапог налипшую грязь. Гриша обернулся к Львову.

– Хорошо, дядя Николя.

«Как только язык поворачивается так называть его».

– Хорошо. Согласен. Мы с братьями через недельку, наверное, явимся к вам.

– Что мешкать-то? – обрадовался Николай Михайлович. – Завтра же ждем вас. С Мишелем приеду за вами.

– Только, – твердо предложил он, – обговорим условия. На бесплатное проживание и обучение я не согласен. Мы, Мытицины, как бы наше положение скверно не было, привыкли чувствовать себя независимо. Мы еще в состоянии... И еще встанем на ноги.

Львов кивал головой.

«Кукиш с хреном в состоянии. Нищим сделаю. Даже выкусить не дам, не то, что на ноги подняться»... – слушая юношу, про себя отвечал он ему.

– Мне надо, – продолжал Григорий, – подобрать маман хорошую сиделку. Тетка Фекла стара.

– Не твоя забота, Гриша. Ерошка, дух из него вон, все сделает... Не хотите бесплатно – похвально. Ерошка составит необходимые бумаги. Нужна сиделка – найдет... Да и не за горы и доли едешь. Будешь наезжать.

При упоминании имени приказчика, юношу передернуло.

– Ну что ж, дядя Николая, – раздумчиво проговорил он, – коль вы настаиваете – будь по-вашему... – И что-то для себя решив, мягко обратился к брату:

– Андрей, ступай, приведи Ерошку. Он во дворе. Скажи князь Львов зовет.

Андрей сам не стал звать Кулешова. Приказал это сделать тетке Фекле.

– Ерофей Онисимыч! – во весь голос с крыльца кричала старуха. – Ерофей Онисимыч, тебя барин Николай Михайлович кличут.

– Будя блажить, старая карга! – огрызнулся приказчик. – Иду.

«Небось договорился», – догадался Кулешов, но радости при этом не испытал. Хотя несколько минут назад готов был заложить черту душу ради того, чтобы остаться на месте управляющего. В тот момент, когда вновь довел княгиню до умопомешательства, хамил Гришке-змеенышу и после, когда ехал к Львову, Ерофей нисколько не жалел о содеянном. Напротив, злорадствуя тому, как досадил своим хозяевам, ругал себя за то, что не очень-то круто насолил и наперчил им. Хотелось, чтобы от перха в горле они задохлись. В голову приходили такие «ерши» – только держись. От них и нормальный человек умом бы тронулся. Но все они, эти «ерши»-слова, ловились его языком не вовремя. «Приходит пося хорошая мысль, – шептал Кулешов, исступленно хлеща шалевшего от боли и не понимавшего своей вины мерина.

– Ничего! Пущу по миру гадюшник Мытищинский... Вот где вы у меня!» – сжимал он кулаки.

К Львову он поехал не случайно. Кулешов давно с ним состоял в сговоре против Мытищинных. Все какие надо документы на все движимое и недвижимое его хозяев уже были выправлены на подставных людей Львова. «Сегодня порешим с ними!»

Николай Михайлович ретивого управляющего обдал холодом.

– Дурак ты, братец. Ду-ррак! – смачно резюмировал Львов. – Захотел все потерять? Когда почти все в руки плывет.

– А долги? – вскричал Кулешов. – А векселя?

– Долги... Векселя... – передразнил Николай Михайлович. – По нынешним ценам они ниже стоимости ихней земли. Два из них подписаны Мытищинным по пьянке, а под самым крупным стоит росчерк юродивой... – не говоря еще главного, подраживал он Ерофея.

– Кто докажет?! Подпись собственноручная и вся ни долга.

– Мне не резон доказывать противное. Сам знаешь. На моих людей они писаны.

– А о каких их землях ты речь ведешь, князь? На всю их деревеньку и землицу закладная здесь, у меня в кармане. Не их они.

– Их! – в тон Кулешову и подступая к главному, сказал Львов. – Их! Эх, управляющий. Ни черта ты не знаешь. Помнишь недавно ты сетовал, мол, хозяин с полгода как преставился, а прав на закладную не предъявляют. Ты-то рад стараться. Доход весь к себе в карман ссыпал...

– Вы тоже скажете, Николай Михайлович! Что за доходы у них? Одно название.

Львов молча прошелся по комнате, подошел к бюро и, перебирая в нем бумаги, не обращаясь, промолвил:

– Об этом потом... По правде, меня тоже удивляло почему Мытищинных не донимают по закладной. И что ты думаешь? Оказалось, «ихи», как ты говоришь, деревенька с землицей на 65 процентов оплачены...

Кулешов набычившись, зло буравил князя глазами. Он думал, что Львов задумал сподличать с ним. Захотел отстранить его от выигранного дела и все мытищинское добро заграбастать себе.

– Будя, князь, шутить, – процедил он. – Не выйдет! Без меня никак не выйдет... Все документы у меня в руках. Все ложные векселя, подписанные Мытищинными у меня. Я их подсовывал покойному пропойце и полоумной княгине... И закладная на деревеньку с землицей тоже у меня... В укромном местечке.

– Ду-ррак! – грозно квакнул Львов. – Дерзишь, а того не знаешь, что закладная у тебя, а расписка в получении по закладной у московского адвоката Мытициных... На, прочти! Намедни, получил.

Он бросил Кулешову надорванный конверт. Ерофей придирчиво осмотрел штемпеля на конверте, повертел его, прочел обратный адрес и лишь после этого выудил из него вдвое сложенную бумагу. Обнюхав ее со всех сторон, он впился глазами в написанное. Адвокат сообщал, что незадолго до смерти, будучи в Москве, князь Юрий Васильевич Мытищин выиграл крупную сумму денег.

После такого сумасшедшего фарта, как отписывал в отдельном письме стряпчий, князь беспробудно спал у себя в номере. Ассигнации валялись по всей комнате. Собрав их, адвокат без спроса хозяина оплатил часть закладной. Когда Мытищин отрезвел и узнал о самовольстве своего стряпчего, он едва не прибил его.

В конверте лежала еще одна бумага. Она была поменьше первой и была копией расписки, заверенной нотариусом.

Кулешов, подняв от них глаза, растерянно, словно кто бухнул его обухом по башке, с минуту, а то и больше, озирался вокруг, явно не понимая где находится. Тяжело опустился на пол и, пригнув ушибленную страшной новостью голову, долго молчал. Пораскинув мужицким мозгом, что к чему, он понял, что свалил «ваньку». Наступало тяжелое похмелье после пира. Потеряй место управляющего он потеряет очень многое. Может быть, денег для открытия собственного предприятия – ткацкого завода – у него хватит. Конечно хватит. Но для поддержания его – вряд ли. Не получит кругленькой суммы ссуженной Львову, в счет которой тот обещал ему деревеньку Вышинки, землицы немалый клин и еще три тысячи рублей. Кроме того, к нему в городе станут относиться с недоверием. Это в расчет Кулешова не входило. Каково для начинающего заводчика?! Нет! Ни с какой стороны не выгодно вставать в амбицию.

– Что же делать? Придумай. Николай Михайлович, – просил Ерофей. – Могу в ноги упасть. Поваляюсь сколько он захочет.

Обговорив некоторые детали, они на том и порешили. Львов тот час же собрался к Мытициным.

«А вдруг не согласится. Они, Мытицины, все рехнутые. Гришка-то особливо... Нет, не согласится. Ничем его Львов не проймет», – мучался Кулешов, старательно счищая кнутовищем с подошв своих новеньких сапожек налипшую грязь. Когда Фекла позвала его они вдруг отяжелели. Или ноги не стали слушаться. Хотелось бегом – не мог. Уже войдя в прихожую, он на лестничной площадке увидел Мытищинского выблядка.

– Пошевеливайся! Князю Григорию ждать не досуг, – направляясь к дверям гостиной, приказал Андрей.

– Из-за тебя, грешное семя, все получилось, – невольно вырвалось у Ерофея.

– Молчи! Харя хамская, – от души крикнул мальчик.

Ерофей злобно сплюнул.

Андрей на ухо пересказал брату происшедшую сцену. Тот промолчал. Кулешов с порога повалился на колени.

– Прости меня, князь Григорий Юрьевич. Бес попутал. С утра вина лишнего откушал.

Григорий молчал. Почувствовав в этом добрый знак, Кулешов на карачках пополз к ногам юноши.

– Встань, – приказал Григорий.

Тот долго не поднимался, испрашивая прощение, а когда Гриша во всю глотку заорал: «Встать!» – подскочил на ноги.

Дальше Николай Михайлович не смог ясно уловить что произошло. На месте, где стоял Гриша, в какой-то неуловимый миг появился темный зигзаг. Что-то лязгнуло, охнуло и тяжело

бухнулось об пол. Юноша стоял как ни в чем не бывало, а Кулешова не было. Что-то большое и бесформенное лежало у Гришиных ног. Это был Кулешов.

«Английский мордобой», – пронзила мысль опешившего и изрядно перетрусившего Львова.

– Как это... Как это... – силясь что-то сказать, квакал дядя Николая.

Не обращая на него внимания, юноша приказал Андрею привести негодя в чувство. Андрей потянулся за графином с водой.

– Без воды, балбес! Без воды сделай. Плевками! Вот так...

Наплевавшись и вволю натоптавшись на Ерошке, он вскоре затих и надолго умолк, приложив разгоряченный лоб свой к холодному стеклу окна. Потом, обернувшись к Львову, тихо сказал:

– Великодушно прошу извинить меня, дядя Николая... Я должен был это сделать... И за матушку, и за него, – он кивнул на брата, – и за себя. Другого выхода у меня не было...

Сказал и снова приложился разгоряченным лбом к холодному стеклу.

– Он остается управляющим?... – глядя в спину остывающего юноши, мямлит Львов.

– Пусть остается, – отзывается Григорий и добавляет: – Пока остается.

– Значит завтра с Мишелем я за вами, – поспешно ретируюсь к двери, не то спрашивал, не то утвердительно говорит Львов.

### 3

Жертву он выбрал после разора четвертого по счету банка. Сорвал его рыжий хохол с бульбовскими усами. Куш был солидный – 18 тысяч. И больше половины этой суммы хохол взял после первого расклада.

Григорий следил за ним со вчерашнего дня. С того самого часа как тот здесь объявился. И наблюдая за тем, как обслуга заведения расстилалась перед хохлом, Григорий отметл все другие намечаемые варианты...

Этого рыжего здесь встречали как старого и щедрого знакомого. Он был из завсегдаев. Из тех, кто всякий раз при наездах в Москву обязательно заглядывал сюда. И потом такого трудно не удержать в памяти. Это был откормленный галушками и вспоенный горилкой, высоченный, с багровой выей, мордастый мужичище. Но при всем при том, как решил Григорий, все-таки – галушка. Сбит ладно, но не крепко. Вся грозность этой «галушки», по глубокому убеждению Мытищина, заключалась не во внешнем виде. Хотя она не могла не внушать. Судя по разговорам слушателей игорного заведения, он был крупным воротилой на Харьковщине и имел здесь, в Москве, и в Петрограде большие связи. Поразмыслив над этим немаловажным обстоятельством, Григорий решил связям харьковского промышленника не придавать большого значения. Он не собирался на них покушаться.

Ему нужны были деньги хохла. А связи и то, где он остановился, куда и к кому ходит, кто его принимает, с кем встречается, дурной он человек или хороший, чадолубивый отец или холостяк и распутник – детали. Их все он отметал и с любопытством хладнокровного, опытного грабителя думал о тех из них, какие могли бы неожиданным боком увязать его с «галушкой» и помочь ищейкам напасть на след. Никакого волнения он не испытывал. Казалось бы, должен был. Дело-то первое. Может потом угрызения совести не дадут покоя...

Григорий бросил взгляд на хохла. Тот с подкупающей открытой улыбкой изучал своих партнеров. Он был похож на большого, доброго кота, мурлычущего что-то на низких нотах и убравшего покуда до поры до времени свои страшные когти.

Мытищин никакой антипатии к нему не питал. И вызывать ее в себе для куража не собирался. Этого и не надо было. Он смотрел на хохла, как на Кулешова. Наверняка этот мужичище когда-то стоял в услужении при богатой дворянской семье. Возможно, был и управляющим. А потом, воспользовавшись случаем, подлостью и вероломством пустил их по миру. Оттяпал кус

из их состояния, открыл завод или, как Кулешов, фабрику и стал налаживать капитал, обзаводиться связями.

Мытищин хорошо понимал, что сам по себе Ерофей из-за слабости духа, привыкшего пресмыкаться, не мог пустить их по миру. Это была нехитрая каверза против них жабы-Львова, адвокат которого еще с недели две назад поставил в известность Мытищинского поверенного в делах о предъявлении полных прав Львова на все движимое и недвижимое имущество Мытищиных. По просьбе Григория, сидевшего без гроша, их юрист выехал на место. Прибыв сегодня утром, он подтвердил формальную сторону правоты притязаний Львова.

– Львов выкупил у разных лиц все долговые обязательства и расписки, подписанные вашими родителями. Подозреваю, – размышлял адвокат, – эту игру он затеял давно и люди, у кого он приобрел все документы были его подставными лицами. . . Векселя на крупные суммы, как ни странно, подписаны княгиней, вашей маменькой, в течение последних лет жизни. Доказывать их несостоятельность по причине ее неменяемости, а значит недействительность векселей, представляется делом сомнительным. Видите ли, психическая неполноценность вашей матушки почти нигде не зафиксирована. Правда, у одного из врачей я нашел запись многолетней давности о ее послеродовом психозе. Но ее одной мало. . . У семейного вашего врача, умершего месяца три назад, совсем недавно, при довольно загадочных обстоятельствах в домашнем кабинете возник пожар. Сгорели, как понимаете, все бумаги.

Григорий слушал адвоката с холодным спокойствием, словно речь шла не об их некогда богатейшем поместье, превратившемся в одночасье в ничто.

– Единственно, что я мог сделать, – продолжал юрист, – это подать прошение об отсрочке платежей по векселям и в течение месяца не объявлять о вашем банкротстве. Попытался также опротестовать купчую на приобретение вашего дома, заключенную Львовым в счет непогашенных долговых обязательств с местным фабрикантом, бывшим вашим управляющим, господином Кулешовым. Простение и протест были отклонены. . . Все-таки кое-что отстоять удалось. Вам братьям во владение передаются чистыми, свободными от долгов, флигель, куда переехал Дмитрий Мытищин и Андрей Варжецов, а также тринадцать десятин земли.

Поблагодарив поверенного и твердо заверив его, что в ближайшее время поправит свои дела, Григорий самым любезным образом раскланялся с ним.

– Я был бы искренне рад, – с доброжелательной недоверчивостью усмехнулся адвокат.

Конечно, это был крах и позор. Страшно быть нищим. Срамота. В течение трех с лишним лет своего жалкого существования в Москве, он накушался ею по самое горло. Перебивался от выигрыша к выигрышу и скрывался от кредиторов, которым задолжал две тысячи с хвостиком рублей. В домах, где знали Мытищиных, его принимали неохотно. И не потому, что он имел отталкивающий характер и наружность или был менее остальных образован. Он не обладал самым существенным – капиталом.

В салонах ныне привечали как раз наоборот людей отмеченных печатью всевозможных пороков – купцов, промышленников и фабрикантов черной кости. Особой щепетильностью и благородством, чем кичились столбовые дворяне, развеявшие свой достаток по ветру, они не отличались. Им она была не нужна. Хотя внешнего лоска они, отнюдь, лишены не были. . . Предприимчивые, хитрые, ничем не брезгующие, они, если им отказывали в расположении, покупали его деньгами. Если что-то мешало, они крушили его той же кредиткой. . .

В свете утверждался новый хозяин – хватки мертвой, жестокий, преступный, заставивший признать себя и закон, и Его императорское величество. Насмотрелся на них Григорий. Один из них убил брата, отхватив его состояние, другой пустил по миру друга, третий хитроумно провел легкоговерного компаньона, выбросив его на паперть клянчить милостыню. . . Победно скрипел его хамский сапог, под которым, как девка от радости и страха, верещал насилуемый закон.

Нужно было учиться у них... Для этого и ума, и способностей, и силы характера у него было довольно. К наукам и чиновничьей службе его не тянуло. В учебе он не преуспел, бросив с третьего курса изучать право. Быть чиновником то же самое, что стать мздоимцем. На что смотрелось благосклонно, но претило Григорию.

«Нет уж, – решил для себя Мытищин, – лучше через кровь и риск стать тем, кто может покупать чиновников и приспособливать к своим интересам науку, выжимая из ее служек свою выгоду...».

И однажды утром проснувшись, он твердо сказал себе:

– Если за ум и добродетель люди принимают подлость, я должен играть теми же картами... Я вас обыграю, господа!..

Сначала Григорий ждал случая, с уверенностью полагая, что он должен ему обязательно подвернуться. А потом понял: случай этот он должен сделать сам.

План действий со всеми его деталями и поворотами возник и сложился просто и стройно. Он знал одно злачное заведение, где модной рулетке предпочиталась картежная игра и где просаживались целые состояния...

И вот случай, в образе жирной «галушки», набитой ассигнациями, сидел неподалеку от него. Григорий ни на минуту не упускал его из виду. И времени для этого он не терял... Ближе к полуночи, он подсел к игрокам, сидящим за соседним от жертвы столом. Ему фартило. При каждом раскладе оказывался в выигрыше. У него было уже около 600 рублей. И в этой своей удаче он видел доброе предзнаменование. Но вот хохол, явно собираясь откланяться, бережно складывая, запихивал в карманы свой последний выигрыш.

Мытищин поманил к себе знакомого здешнего лакея, который за червонец и при условии, что четвертак после выигрыша перепадет ему, всегда пропускал его сюда.

– Уходите, ваше благородие? – вкрадчиво поинтересовался он.

«Тоже из новых хозяев этого света», – подумал Мытищин, молча сунув ему в карман двадцать пять рублей.

– Благодарствую, – шепнул тот и исчез прямо на глазах, как наваждение.

Хохол, не заказывая экипажа, направился к коридору, где размещались туалетные комнаты. «Лучшего случая и быть не может», – смекнул Григорий и первым прошел в коридор, оказавшийся совершенно пустым. Оставалось узнать в какую из трех уборных он пройдет. Хохол выбрал дальнюю. А потом все произошло в считанные минуты. Он не дал ему захлопнуть за собой дверь. Подтолкнув его в спину, Григорий вошел вслед за ним, проворно закрыв дверь на щеколду.

– Ты шо? – выпучился хохол.

– Мне нужны ваши деньги, – спокойно ответил Мытищин.

– Шо-о?! – с грозной протяжностью пропел хохол, презрительно с ног до головы смерив неказистого на вид и вдвое тоньше его противника.

Григорий с деланным испугом, резко вскинул глаза к потолку. Голова хохла невольно дернулась туда же, и Мытищин, рассчитывая именно на такую реакцию своей жертвы, ребром ладони, молниеносно и сильно нанес ему удар в горло. Хохол захрипел, хватая ртом воздух и всей тяжестью грузного тела вместо того, чтобы отпрянуть, навалился на Григория. Неожиданно оказавшимися железными его руки обхватили юношу и придавили к стене. Мытищин, отталкивая его от себя, свободной рукой вытащил из-за пояса «бульдог», приставил дуло его сбоку, ниже подмышки, прямо против сердца, и надавил на спусковой крючок. Тело хохла вздрогнуло, моментально сникло и стало тяжело сползать к ногам Григория. Не спеша, обшарив бездыханную жертву и переложив содержимое его карманов к себе, Мытищин с большим трудом затащил очугуневшее тело в кабину уборной. Там он усадил его, изловчился закрыть дверь изнутри и вышел в зал.

– Гарсон! – подозвал он, снова усаживаясь рядом с игроками. – Водки!

Осушив одну за другой две высокие рюмки, он расплатился и ушел...

В ту ночь Григорий стал обладателем 78 тысяч рублей. Ни угрызений совести, никаких других беспокойств он не чувствовал. Ни во сне, ни после того как проснулся. Образ убиенного не вставал перед глазами, не мучил и не преследовал его.

Через несколько часов, покончив с выплатой долгов кредиторам, он сидел в тяжело переваливающемся вагоне «чугунки», тащившем его жребий в отчие края...

– Осади здесь! И жди! – прыгнув на землю, приказал он кучеру нанятой им на станции коляски.

На втором этаже особняка, куда подкатил Григорий, дернулась портьера и мелькнуло знакомое, уродливое лицо Львова, которое тут же отшатнулось в глубину комнаты. Григорий по-хозяйски распахнул парадную дверь и лицом к лицу столкнулся с уже порядком поседевшим, но еще бравым на вид Мирзавчиком.

– Киняз, дорогой, – расплылся он в улыбке.

Они обнялись.

– У себя? – спросил Григорий.

Мирзавчик вместо ответа подмигнул.

– Мирза бек, только не мешай мне. Хорошо? – попросил он.

– Ерошка падлес тоже там, – шепнул кавказец и бесшумно шмыгнул в свою каморку.

– Они оба друг друга стоят, – пробормотал ему вдогонку Григорий и ринулся вверх по лестнице, ведущей к гостиному залу.

У самой двери на пути его встал вышедший оттуда дородный детина. Видимо новый лакей Львовых.

– Куда? – заслонив собой дверь, спросил он.

– Прочь с дороги! Я к князю.

Детина цвикнул, нарочито медленно провел языком вокруг десен, будто выдавливая оттуда застрявшую пищу, и сказал:

– Князя дома нема.

Григорий резко ткнул его в солнечное сплетение, отчего детина, разинув рот, согнулся пополам. Затем, вывернув ему за спину руку, развернул и со всей силы коленкой ударил в зад. Лакей вышиб собой дверь и растянулся почти у самых ног выпучившегося Львова. Григорий ребром полусогнутой ладони ударил лакея по шее, а затем, схватив за волосы, поднял его голову лицом к князю.

– Смотри, хам! Жабу видишь? Это и есть твой хозяин... Следующий раз мне не ври, – и пару раз безжалостно ударил его мордой об пол.

Оставив лакея, Григорий вплотную подошел к позеленевшему от страха Львову.

– Ну что, ваше сиятельство, душа болотная?! Поговорим теперь с тобой.

Охваченный ужасом Николай Михайлович мычал. В горле с бульканьем клочкотали застрявшие слова. Вдруг он икнул.

– О, да никак ты подавился, – с издевкой посочувствовал Григорий. – То наше состояние голос подает.

Львов икнул еще раз.

– Нехорошо, дядя Николая. Нехорошо быть подлецом, – негромкими, но полными угроз интонациями увещевал Мытищин. – Грабить среди бела дня своих близких может тебе и к лицу. Однако смею заметить, не благородно, не по-дворянски.

– У ме... У меня, – начал было лепетать Львов.

– Знаю! – оборвал его молодой человек. – Знаю, что хочешь сказать. У тебя все расписки и векселя, которые якобы выкуплены тобой... У кого ты мог их выкупить?! У своих же людей?! Кому это неизвестно?! Кем они подписаны, ты смотрел?! Моей безумной матушкой!.. Кто их ей

подсовывал?! Твои люди! Все тот же холуй Ерошка! Он же скотина по твоему же наущению ее отравил... Тетка Фекла видела как он подсыпал ей губительное зелье... Мешала вам подлецам моя матушка. Мешала потому, что, покуда была жива, ее сумасшествие делало все долговые обязательства грязными, фальшивыми бумажками.

– Нет, нет, – замахал руками Николай Михайлович.

– Там среди бумаг несколько подлинных векселей на сумму тринадцать тысяч рублей. Они подписаны мной.

Григорий вытащил внушительную кипу кредиток. Отсчитывая нужную сумму, он, тоном нетерпящим возражений, потребовал написать расписку в том, что такого-то числа, такого-то дня от князя Мытищина Григория Юрьевича получена такая-то сумма.

Николай Михайлович при виде денег немного пришел в себя, хотя дрожи в руках и ногах, как ни старался, унять не мог.

– Э-э-э, князь, – протянул Григорий. – Подлость глупой чернью возведена нынче до больших высот и ставится выше ума. И сильна она и отважна, пока не поддерживается этими людишками... Но вот сердце у подлости вроде труского и обосранного овечьего хвоста... Оно вот такое! – он показал на трясущиеся руки Львова. – И страх у подлости тоже подлый. Ведь признайся, не хочешь писать мне расписки. Все думаешь как надуть Гришку-паскудника. Не правда ли, «благодетель» наш, мать твою ети?! – он резко дернул его за руку, развернув массивную тушу князя к столу.

Николай Михайлович лихорадочно зашарил по нему. Григорий спокойно вытянул из стопки бумаг чистый лист, обмакнул ручку в чернила и вложил ему в руки. Подавая ручку, он случайно, скользнув взглядом по двери, ведущей в Львовские покои, в широкой замочной скважине заметил чей-то глаз. Не надо было иметь особой проницательности, чтобы догадаться кому он принадлежит. Григорий промолчал по этому поводу. Он продолжал свою «увещательную» беседу.

– Дядя Николая, знаешь чем подлец отличается от честного человека? Тем, что он лучше честного играет роль честного. А сколько выгод от этого... Я понял одно, дядя Николая. Надо быть подлецом. Тебя почитать тогда станут. И опять-таки при капитале, – так рассуждая, он отошел чуть в сторону, откуда подсматривающий никак его не мог видеть.

– Чтобы доказать это, смотри, что я сейчас тебе устрою.

Николай Михайлович испуганно вскинул голову. Глаз подглядывающего еще теснее прилег к замочной скважине. А Григорий, сделав два бесшумных шага в сторону Львовских покоев, сорвался с места и пинком, вложив в него всю тяжесть своего разогнавшегося тела, ударил в дверь. Она распахнулась вместе с истошным воплем Ерофея... Залитые кровью нос и рот его были смяты. Поперек лба, наискосок кровоточила, вздутая до невероятных размеров продолговатая шишка. Кулешов сгоряча вскочил на ноги и тут же снова рухнул.

– Еще одна подлая душонка, которую величают сейчас по имени отчеству, – сказал Григорий равнодушно, отвернувшись от упавшего на пол бывшего управляющего, а ныне хозяина Вышинок.

Львов от страха прямо-таки спятил. Он выковыривал из носа козюльки.

– Пиши, пиши, – ледяным голосом приказал Григорий. – Ерошка притворяется. Я знаю этого выродка.

Кулешов повернулся на бок. Сил подняться у него не было. Львов, быстро черкая расписку, то и дело поглядывал на своего сообщника, который все больше и больше проявлял признаки жизни.

– Готово! – наконец сообщил Николай Михайлович.

Григорий взял исписанный лист.

– От этой расписки, зная тебя, ты можешь отказаться... Верни мои векселя, – потребовал он.

Львов замялся.

– В чем дело? – устрашающе выдал Мытищин, пододвигая к трясущимся рукам «благодетеля» выложенные им ассигнации в тринадцать тысяч.

Николай Михайлович стоял истуканом. «Не хочет показывать всех документов», – смекнул Григорий.

Львов же, чтобы как-то объяснить свою нерешительность, показал на Кулешова.

– Не могу смотреть. Убери его.

Григорий упрощать себя не заставил. Молча подошел к ворочающемуся Ерофею. Заметив приближающегося обидчика, Кулешов стал отползать.

– Встань, скотина! – велел Григорий, приподняв его за плечи.

Тот поднялся и в сопровождении Мытищина, пошатываясь, поплелся к выходу. Когда они вышли на лестницу перед Григорием предстала странная картина. Новый лакей Львова, которого Мытищин «чутко проучил», с откинутой на бок головой, сидел, прислонившись к створке парадной двери. Глаза его потерянно блуждали. Из ноздри тонкой струйкой текла кровь. Неподалеку, облокотившись на перила лестницы, спиной к вышедшим из гостиной, стоял Мирзавчик. Заслышав шаги, он обернулся.

– Киняз, голубчик, как нехорошо получился... Он, – кавказец, чуть моргнув глазом, показал на нокаутированного детину, – на улиса бежал и с лесница свалился. Шибко болно башка ударил.

Между тем Кулешов спустился на последнюю ступеньку. Мирза бек глянул на него и выкатил глаза.

– Вай! – воскликнул он. – Ярошка тоже свалился. А я думал кто там арьет как ишак?

Григорий все понял. Мирза бек остановил «лакея», спешившего очевидно за полицией. Подморгнув ему, он вернулся в залу.

Львов уже успокоенный наливал себе в рюмку коньяк. В приоткрытом баре, из под полочки, на которой стояли бутылки с водками, коньяками и наливками разных цветов, торчали уголки денежных купюр. Хитроумно инкрустированный под полку, этот выдвижной ящик, утопленный вглубь, обнаружить было трудно. Тем более, что передняя планка полки, украшенная рисунком из перламутра, оставляла впечатление будто бутылки стояли ниже, чем на самом деле. Поэтому искусно замаскированный ящик выглядел поддоном. Если бы не спешка и жадность Львова, Григорий ни за что не догадался бы где дядя Николая припрятывает заветные бумаги.

«Ах, вот где твой тайничок», – отметил про себя Мытищин, а громко спросил:

– Готово?

Львов кивнул, предложив жестом молодому человеку коньяку. Тот на приглашение никак не отреагировал. Николай Михайлович выпил и, выживая из вазы, стоявшей в баре как раз под полкой, дольку лимона, к ужасу своему увидел ехидные язычки торчащих купюр. Он торопливо захлопнул бар и, отступив от него, протянул три векселя Григорию. Мельком взглянув на них, Мытищин опустил их в карман.

– Теперь и выпить можно. Жаль руки испачкал кровью, – сказал он.

Потом в поисках чего-то он стал бить себя по карманам.

– Куда девался платок? – спрашивал он себя. – А, вот он!

Григорий из бокового кармана пиджака вытащил револьвер, и, демонстративно проверяя, полна ли обойма, крутанул барабан. Оставшись довольным, он переложил его в другую руку и наконец извлек из недр кармана не первой свежести платок. Положив револьвер рядом с дверцей бара, Григорий, обращаясь к нему как к третьему присутствующему, сердечно, не без оттенка сожаления произнес:

– Думал, друг мой, придется тобой воспользоваться. Слава Богу, обошлось.

Тщательно, палец за пальцем вытерев руку, он открыл бар.

- О! – воскликнул Мытищин, с любопытством рассматривая кончики торчащих денег.
- Это что такое? Никак тайник...

Он потянул на себя поддон, оказавшийся действительно выдвижным ящичком, внутри которого под пачкой только что полученных Львовым денег, лежали какие-то бумаги.

Николай Михайлович бросился к молодому человеку. Но тот, видимо, предвидел подобную реакцию, схватил револьвер и сквозь зубы процедил:

- Ни с места!
- Это же грабеж...
- Что ты говоришь?! – не отводя револьвера, прошипел Григорий. – Это, стало быть, грабеж... А вот это, – он ткнул на расписки с росчерками его матушки, – это не грабеж?! Скажи, как это называется?

Лицо Григория исказила страшная гримаса гнева. Он широко и решительно шагнул в сторону Львова...

– Нет в русском языке такого слова. Не придумали. Может еще придумают. Чтобы, произнося его, каждый содрогался, понимая о какой мерзости идет речь. И чтобы ни у кого не возникало желания поднимать подлеца на Олимп и ломать перед ним шапки. Возвышать такого – значит признать его право на подлость. Сильные мира сего – подлецы высшей гильдии. Но на всякого подлеца рождается свой подлец... Самое смешное то, что, уничтожая одну подлость, другая, победившая, становится изощренней, совершенней...

Мытищин говорил, а сидящий внутри него двойник, словно со стороны слушая и наблюдая за ним, иронически ухмыляясь, говорил: «Эва, куда тебя повело. Не к добру...» Его умствования подобного рода и ощущение двойника, как уже им не раз замечалось, были первыми признаками надвигающегося припадка.

- Пора кончать! – оборвал он самого себя.
- Побойся Бога, Гриша, – по своему истолковав его злобный выкрик, взмолился Львов.
- Виноват перед тобой... Виноват... Прости старика...

Подбородок «благодетеля» сморщился как у обиженного ребенка, губы сползли в бок, из глаз посыпались горошины слез.

Мытищин жестко в упор посмотрел на Николая Михайловича.

- Совесть у подлецов говорит только под дулом. И все равно с подлостью на уме.
- Возьми, возьми все эти бумаги, Гриша. Только оставь меня. Оставь...
- Убери дуло в сторону и он снова становится подлецом, – не слушая Николая Михайловича, продолжал свою мысль Мытищин. – А по сему я это тоже заберу, – и Григорий вслед за документами сунул во внутренний карман, отданные им за свои векселя деньги.

#### 4.

- Гони в Вышинки, – крикнул он ожидавшемуся кучеру.

Полчаса спустя у одной из крайних изб села он велел остановиться. По-хозяйски распахнув дверь, Григорий вошел в полутемную горницу. Сидевшие за столом несколько мужиков, как по команде повернули головы на вошедшего, и тут же повскакали с мест.

- Здорово, мужики, – осенив себя широким крестом, поприветствовал он.
- И вам, барин, доброго здоровьичка, – вразноголосицу ответили мужики.
- Я к тебе, Януарий Степанович, – не дожидаясь приглашения, Григорий тяжело опустился на лавку.

– Что с тобой, князь? – встав из-за стола, чуть набычившись, но с теплотой в голосе, спросил Варжецов. – На тебе лица нет.

- У меня дело к тебе, Януарий Степанович, – массируя виски, сказал он.

Варжецов был приятно ошеломлен. Княжеские дети никогда к нему не заходили. Так, от случая к случаю, когда приходилось бывать в усадьбе Львова, где жил в последнее время с ними и Андрей, они с ним разговаривали как со свойственником. Без высокомерия. А как-то раз Григорий, упражнявшийся с кавказцем драке на кинжалах, попросил Варжецова показать нехристю Мирзе беку, что и у нас на Руси могут владеть ножом. Ян тогда показал один коварный жиганский «коленец» с перекидом ножа из рук в руки, на который изобретательный Мирза бек нашел контр прием. Тогда, да и всегда, когда случалось, Григорий держался с ним подчеркнуто почтительно. Своим поведением показывая окружающим, что они, Мытишины, не считают дядю их сводного брата Андрея чужим для себя человеком, какая бы худая слава о нем не ходила. И потом Яну рассказали, как молодой князь Мытищин наказал за Андрея своего управляющего.

– Дело так дело, – ровно, словно для него иметь общие дела с Мытишиным было в привычку, сказал он и, быстрым, резким взглядом окинув гостей, тоном, не терпящим возражения, приказал:

– Ступайте, мужики. Повечеряли и будя...

Те гурьбой, не надевая шапок, пошли к выходу.

– Князя у меня не видели! – крикнул он вдогонку.

Григорий через силу поощрительно улыбнулся понятливости Варжецова.

– Вестимо... Знамо дело, – отозвались мужики.

Оставшись одни, Ян повторил свой вопрос.

– Что с тобой, Григорий Юрьевич?

– Голова... Потом, потом о ней...

– Выпей винца.

– Коньяк если есть.

Нашелся и коньяк. Залпом осушив полстакана, как ни странно, отменного французского коньяка, он с минуту прислушивался к себе. Боль в затылке и в висках, предвещающая скорый припадок, постепенно притуплялась. «На день на два – не больше», – подумал Мытищин. Он знал это по опыту.

– Отлегло, – облегченно выдохнул Григорий. – Теперь о деле.

Он быстро, без особых подробностей рассказал Варжецову о своем «визите» ко Львову. Под конец рассказа он выложил на стол привезенные собой бумаги. Варжецов с интересом изучал каждый документ.

– Орел ты, князь! Орел... Сховать желаш? – показал он на бумаги.

– Зачем? Лучше сжечь... Вообще, – вслух размышлял он, – сжечь всегда успеется.

– Дела не слышу, – напомнил Варжецов.

– Вот еще, – сначала из одного, потом из другого кармана Григорий бросал на стол деньги. – Надо спрятать.

– Сделаем... Сколько здесь?

– Семьдесят одна тысяча... Пятьдесят спрячешь.

Немного помедлив, добавил:

– Но это не все.

Варжецов приготовился к тому, что Григорий сейчас начнет выкладывать кредитки из других карманов. Однако тот медлил.

– Тут нужна твоя помощь и твои связи, Януарий Степанович.

– Слухаю, слушаю, князь.

– Есть мысль прижать Ерощку. По одной из бумаг он помимо Вышинок стал еще и хозяином нашего дома, – сделав паузу, Григорий показал на документы. – В погашении долгов наших он выправил себе купчую. А в отдельной бумаженции, заверенной нотариусом, говорится, что он через полгода уступает ее Жабе.

– Кому? – переспрашивает Ян.

– Князю Львову.

– Понял. Знать, купчая у Ерошки.

– У Львова я ее не нашел... Но об этом потом. Чтобы прижать гада надо ударить по его фабрике.

– Спалить хочешь?

– Нет!.. Весь доход, – рассуждал Григорий, – ему приносит фабрика. Дело, начатое им по всем статьям прибыльное. Это самое больное место у Ерошки. На нем-то я и хочу сыграть. Попытаться... Нет, – поправил он себя, – не попытаться, а напугать тем, что он лишится этого доходного промысла. Так напугать, чтобы со страха пал на колени.

– Легко сказывается – нелегко дается, – заметил Ян.

Мытищин поднял руку в знак того, чтобы Варжецов дослушал его до конца.

– Сейчас, со дня на день, – продолжил он, – к нему на фабрику пойдут подводы со льном... Поставь всех своих людей на ноги. Выбери чье-нибудь подворье и все груженные подводы наших мужиков направляй туда. Пусть сгружают лен там. Из соседних деревень тоже гони туда. Другим, не нашинским мужикам, шепни, что фабрикант Каретников из соседнего уезда платит больше Кулешова... Для расплаты с мужиками и прочее, думаю, тысяч десять хватит. Сули, подкупай, обманывай, но чтобы через три дня Ерошка понял бы, что фабрика без сырья сгорит как стог сухой соломы... Вот тогда мы с ним поговорим...

– Дело говоришь, – после некоторого раздумья соглашается Варжецов. – Мне кажется, пять тысяч хватит за глаза.

– Сколько останется от назначенной мной суммы – все твои.

– Согласный я. Жаль мужиков отпустил. Но я их мигом.

– Откуда они, – отсчитывая свойственнику купюры, продолжал он, – рассказывать не хочется. Скажу одно: кистенем добытые.

Поняв состояние молодого человека, Варжецов обнял его за плечи.

– Полно, князь. Полно. Не горюй. Все бывает... Орлом выходишь в жизнь.

– Мне жалко стало, – пролепетал он.

– Того, что ли?

Мытищин вздрогнул. Казалось бы, он ничего не сказал, а Егор, продувная бестия, все понял.

– Себя... А о том и не думаю...

– Будя маяться. На все воля господня.

Из избы они вышли вместе. Кучер, завидев Варжецова, стянул с себя картуз. Ян кивнул и строго предупредил:

– Князь у меня не был... А то знаешь меня.

Во флигель мытищинской усадьбы, где теперь жили братья, полицейские ворвались спозаранок. По жалобе князя Львова и Кулешова за покушение на собственность и жизнь, Григорий был арестован и сопровожден в местную тюрьму.

Тюрьма представляла собой одноэтажное каменное строение с двумя темными и мокрыми камерами, находящимися глубоко в подвале. Камеры, переполненные разным сбродом, одна от другой были отделены массивными железными решетками. Между ними, позвякивая ключами, ходил или беззаботно насвистывая, сидел на табуретке ко всему безучастный надзиратель. Мытищин не мог и предположить, что в их заштатном губернском городке может быть столько преступного люда.

Топчанов, стоявших по трем сторонам стен, всем не хватало. И люди стояли, переминаясь с ноги на ногу. Иногда за краешек освободившегося топчана, на котором можно было хотя бы сидя вздремнуть, устраивались потасовки. Лучшими местами считались те, что находились

поближе к решетке потому что там было светлее и из-за часто открывающейся двери, ведущей на волю, веяло свежим воздухом. Места эти принадлежали известным в губернском масштабе жулью, называющими себя «паханами братвы». На них никто больше не имел права предъявлять претензий... Они, эти «паханы» тюремного света, были и одеты получше прочих и, повелевая, держали в страхе остальных заключенных.

Мытищину по началу тоже не сделали исключения. После того, как его сюда поместили, он долго стоял, а потом привыкнув к полумраку и завидев топчан, тотчас же сел, опустив на ладони голову. Ему показалось, что он держит не голову, а чугунный шар, который от страшных ударов внутри него вот-вот должен был расколоться.

– Эй, малый, – нараспев, с издевкой, позвал Мытищина один из фертов, тюремной элиты.

Григорий не шелохнулся. Он и не догадывался, что этот окрик касается его. Снова давала о себе знать нестерпимая боль в голове... Люди в обеих камерах обратили свои взоры на новичка и притихли в ожидании готовящегося представления. Ферт подошел к Мытищину вплотную. Камеру окутала зловещая тишина. Ферт двумя пальцами взялся за воротник пиджака Григория.

– Эй, мал-о-ой...

Мытищин резко стряхнул с себя его руку и рывкнул:

– Пшел прочь!

– А-ах, ты так?! – угрожающе протянул Ферт.

Григорий продолжал сидеть все в той же позе. Ему было трудно поднять очугуневшую голову.

– Будя! – вдруг вмешался надзиратель.

Все, как один, повернулись к нему. Никогда, ни одни из них в подобные сцены не вмешивался. Ферт вопрошающе посмотрел на безучастно стоящего поодаль тюремного жоака по кличке Косолапый. Тот, пожевывая спичку, в знак высокого соизволения кивнул головой. Но надзиратель уже матюгом остановил Ферта.

– Косолапый! – наконец догадался он. – Где ты? Подь сюда.

Необычное поведение надзирателя привело обе камеры в изумление. Все напряженно наблюдали за Косолапым, слушавшего нашептывания тюремного служаки. Брови Косолапого полезли, как говорят, на полати.

– Он?! – невольно воскликнул жоак.

Надзиратель кивнул и, позвякивая ключами, пошел вдоль решеток. Косолапый, некоторое время о чем-то усиленно размышляя, смотрел на склоненную голову новичка. Покачал головой и, передвинув в другой уголок рта спичку, не глядя на задиру, сказал:

– Не моги чепляться к нему.

– Пошто?!

– Цыц, ублюдок!

Люди по обеим сторонам камер онемели. После непродолжительной паузы Косолапый объявил:

– Это его благородие князь Мытищин Григорий Юрьевич.

Григорий сидел в прежней позе. Не повел и бровью. Он и ничего не слышал. Он толком видимо и не понимал, где находится. Вскоре он лег на топчан и, не двигаясь, пролежал часа два. На спящего князя ходила смотреть вся камера. А он лежал ни разу не почесавшись, хотя даже по щеке ползали два вздувшихся от крови клопа. Потом он встал и больше ни разу не прилег. Ходил вдоль решетки, то закинув руки за спину, то массируя ими себе шею. Иногда, правда, он садился, но вскоре опять вставал, продолжая ходить из угла в угол.

Клопиных укусов Григорий не чувствовал. Его занимала одна мысль, как бы здесь, среди чужих, отталкивающих всем своим видом своим субъектов, с ним не случился припадок.

Так странно, непонятно для окружающих, он вел себя вплоть до дня своего освобождения. Ключи свободы звякнули для него утром третьего дня...

Несколько раз на его пути становились посыльные Косолапова, предлагавшие ему прилечь. Наконец к нему подошел сам вожак.

– Прилег бы, ваше благородие, – сочувственно заглядывая в воспаленные глаза Григория, попросил он. – Ить усю ночь не спамши.

– Весьма признателен... не могу я...

– Воля ваша, – сказал вожак и больше к Мытищину никто не подходил.

Где-то к вечеру Косолапова подозвал надзиратель, воровато вручая ему записку с воли. Прочитав ее, он невольно встрепенулся и, мельком взглянув на Мытищина, вновь уставился на написанное. Потом и он, как Григорий, заметался вдоль решетки, усиленно о чем-то размышляя и крыл матом всех, кто пытался выведать что случилось. Наконец, придя к какому-то решению, он взял под руку Григория и тихо сказал:

– Разговор есть, ваше благородие.

– Говори.

– Пойдем к свету.

Уже там он протянул полученную записку.

– Читай. Не бойсь.

Григорий усмехнулся. «Косолапушка, – читал он, – у твоей блоховке отсиживает зло-вредна личность, княжеский пащенок Гришка Мытищин. Ужо небось знаш. Коль его к завтраму вынести вперед ногами плачу 500 рублей и ослобоняю тебя. А захочешь больше отвалю больше. Ярофей».

Ни одни мускул не дрогнул на лице Григория. Он прочел записку еще и еще раз.

– Ничего не пойму, – наконец вымолвил Мытищин. – Голова, как чугунок. Болен я. Понимаешь?..

Вожак кивнул.

– Кто такой Косолапый?

– Я.

Григорий что-то буркнул, отдал записку и снова стал мерить шагами длину клетки. Мысли тяжелыми булыжниками ворочались в его голове. Он чувствовал, в этой записке есть что-то полезное для него. А что, ни определить, ни сформулировать никак не мог... Он скрипнул зубами и, заставляя себя сосредоточиться, обзывал себя последними словами... «Думай, идиот, думай...» и он ее поймал.

Такая простая. Такая спасительная.

Косолапый сидел на том же месте. Григорий подсел к нему.

– Как ты с ним? – показал он на надзирателя.

– Нашенский.

– Дай ему четвертак, – Григорий сунул ему смятую кредитку.

– Это лишку.

– Если есть меньше – дай. Остальное возьми себе. А потом получишь тысячу... Пусть кого пошлет за Яном Варжецовым...

– Нет, барин. Январек за беспокойство, на ночь глядя, башку мне оторвет.

– Не бойся, – этот раз стал успокаивать его Григорий. – Как узнает от меня, еще другом станет тебе.

– Воля ваша... Однако ж, от твоего имени, барин.

– От моего... От моего.

Варжецов вошел в тюрьму по-хозяйски. Все жулье по обеим сторонам прильнуло к решеткам.

– Здорово живете, братва, – по-отечески улыбаясь, поприветствовал он.

С ним здоровались подобострастно, величая по имени и отчеству. Потом одним небрежным движением руки прекратив шум, попросил пыжившегося от удовольствия служителя, открыть дверь в ту половину, где сидел Мытищин.

– Как поживаешь Григорий Юрьевич? Дела твои, что ты мне наказал, как по маслицу катятся.

Пожав друг другу руки, они отошли в сторонку и долго шептались. Варжецов явно довольный потирал руки.

– Косолапый! – наконец позвал он. – Где ты там черная душенька моя?

Ослабившись, вожак подошел вплотную к решетке.

– А ну, дай!

Прочитав записку, он радостно воскликнул:

– Эва, князь! Теперь мы его к ногтю. К ногтю гниду... Не тужи, Григорий Юрьевич. Жди!.. Сейчас я ему устрою. Портки обосрет... В ногах у тебя валяться станет...

На прощание он заговорщически подмигнул вожаку.

– Ну, Косолапая душенька моя, с меня причитается.

Утром Мытищина выпустили на волю. Возле тюрьмы его поджидала коляска, в которой сидели с разбитой мордой Кулешов с Варжецовым...

И не знал Григорий, что минет неделя и его снова упекут в тюрьму. Хохол, оказалось, выжил и по его описаниям лакей того злачного заведения показал на Григория. После долгого следствия за попытку убийства и ограбление, совершенного в Москве, его сослали в Сибирь. С ним на свою погибель ушел и Мирза бек, который напоследок плюнул в лицо Львову и в последний раз сменил хозяина.

Люди, к которым Варжецов рекомендовал обратиться Григорию, здорово помогли. Освоился он быстро. Не успели местные и глазом моргнуть, как прибрал он к рукам ямщицкую братию, аккуратно платившую ему долю за заступничество. Отсюда и пошло его прозвище князь Ямщицкий. Немного погодя уже через своих ямщиков он стал подбираться к старателям, промышлявшими здесь золотишком. Пусть еще не в большом количестве, но золото уже текло ему в карман, немалую часть которого он посылал с Мирза беком братьям. Однако некоторые старатели, из самых удачливых, все еще артачились. Отказывались от той защиты, какую им обещал Мытищин взамен доли. Мол, сами смогут за себя постоять. Тогда Григорий с сотоварищи, в течение двух месяцев наладил слежку за самыми влиятельными и несговорчивыми. Потом напал и до нитки обирал упрямецев, великодушно оставляя в их теле едва теплившуюся жизнь. Наконец артель старателей позвала его на решающий стговор в одну из своих заимок. В назначенный день Мытищин занемог и вместо него туда отправился кавказец.

Мирза к старателям отправился не один. Взял с собой дружившего с ним фартового на воровские проделки местного паренька Кузьму. Тот уж очень был привязан к кавказцу. Любил его и как собачонка всюду ходил за ним. Ради него готов был без раздумий в огонь и в воду.

Никого не подпускавший близко к себе Мирза, видя искренность слепо повинующегося ему Кузьки, стал доверять ему. А тот лез вон из кожи, чтобы заслужить у удалого кавказца поощрительную улыбку.

– Кузья, к заимке со мной поскакаешь? – ласково спросил его Мирза.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.